

9(с)17
Р-83

Е. Ю. ГРИГОРОВИЧ

ЗАРНИЦЫ

НАБРОСКИ
ИЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
1905—1907 гг.



ИЗДАНИЕ
С. П. Григорова

9(с)1
П83

ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С. В. БАХРУШИНА и М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

Государственная типография имени Ивана Федорова,
Ленинград, Звенигородская, 11
Заказ № 2788

Ленинградский Гублит № 23025. Тираж 4000 экз.

УЧ. 11
Г-83

Е. Ю. ГРИГОРОВИЧ

ЗАРНИЦЫ

НАБРОСКИ
ИЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
1905—1907 гг.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
и
ПРИМЕЧАНИЯ Н. М. ДРУЖИНИНА

ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1925



ПРОВЕРЕНО

Обложка гравирована
на дереве А. Кравченко.

1255

Эпизод, которому посвящены Воспоминания Е. Ю. Григорович, мало известен в литературе. Задуманное почти самостоятельно в не совсем обычной обстановке велико-светской конспирации, не осуществившееся благодаря своевременному уведомлению со стороны Азефа, покушение на Трепова принадлежит больше к области личных переживаний той, которая составила и пробовала провести в жизнь этот замысел, чем к истории революционного движения в целом, осталось скрытым от массы революционных работников и в сущности даже ускользнуло от внимания охранного отделения. Повидимому, намек на события, являющиеся сюжетом издаваемых Воспоминаний, имеется в известной книге А. И. Спиридовича: „Партия социалистов-революционеров и их предшественники, 1886 — 1916 г.“ (изд. 2-е, 1918 г., стр. 293), где сказано: „Наезды боевиков разных организаций в тот период в Петергоф, где имел пребывание император, вообще не были удачны для них... Лицо, прибывшее в Петергоф для выслеживания проездов высокопоставленных лиц и занявшее в Петергофе две весьма удобных для этой цели квартиры, было обнаружено охраной, что и заставило его покинуть Петергоф и вернуться в Петербург“.

Воспоминания Е. Ю. Григорович первоначально были задуманы, как произведение беллетристическое. Отсюда заглавие: „Зарницы“ и не совсем обычная в мемуарах форма изложения, не нарушающая, однако, фактической точности. В своем предисловии автор пишет: „За исключением „Елены“, здесь сохранены подлинные имена или партийные

„клички“, поясненные там, где это представляет исторический интерес. Разговоры приведены с возможною точностью, — наиболее характерные выражения удержались в памяти дословно“.

„Зарницы“ печатаются в том виде, как они получены от автора, и ей, в частности, принадлежат все подстрочные примечания. Редакция не считала себя в праве раскрывать псевдонимы, не объясненные автором по тем или иным соображениям, но в целях освещения общего исторического фона, на котором произошла эта художественно изображенная личная драма террористки, — „Наброскам“ предпослана статья Н. М. Дружинина, дающая общую картину революционного движения в 1905—1906 годах, и им же составлен Указатель имен, в котором сообщаются основные биографические данные о лицах, упоминаемых в тексте.

С. Бахрушин.

1906-й год.

Воспоминания Е. Ю. Григорович переносят нас в период первой русской революции, — в возбужденную атмосферу переломного 1906 года. Перед читателем проходят образы подпольных террористов, организаторов безумно смелых экспроприаций, руководителей боевых выступлений; партийные собрания сменяются конспиративными заговорами; напряженная внешняя борьба сплетается с острыми личными ощущениями. Революционное подполье остро вклинивается в окружающий обывательский мир, который захвачен впечатлениями ярких событий. Все, начиная от сочувствующего бюрократа и кончая озлобленным сыщиком, живут одним ощущением — разразившейся политической грозы.

Чтобы понять значение и связь этих развертывающихся образов, необходимо припомнить историческую обстановку переживавшегося момента. Период, охватываемый воспоминаниями — весна и лето 1906 года, когда в революционном движении уже чувствовался заметный надлом и героизм отдельных участников не мог преодолеть все усиливающейся реакции. Наиболее бурные и яркие проявления революции оставались позади. Разгром московских баррикад был поворотным пунктом, который определил собой исход всего движения. Под ударами правительственных репрессий постепенно спадает волна массовых выступлений; движение не успело еще организовать, его отдельные потоки не успели слиться в единое и мощное течение, как постепенно окрепшее правительство воздвигло перед ним глухую и прочную

преграду. Этот процесс перемещения сил произошел не сразу и явился результатом целого ряда внешних условий.

Подорванное неудачной японской войной и обессиленное финансовым кризисом, самодержавие было еще более расшатано революционной „смутой“. Плодом его бессилия была частичная капитуляция 17 октября. Эта уступка „общественному мнению“ имела крупные политические последствия: она удовлетворила оппозиционные общественные верхи и резко обособила их от революционной народной массы.

Но манифест 17 октября не остановил революции, — он придал ей больше силы и больше смелости. Опираясь на свою первую реальную победу, массовое движение разливается шире, все резче выступают его социалистические тенденции, и ощущение возрастающей тревоги сильнее охватывает землевладельческое дворянство и торгово-промышленную буржуазию. На фоне пылающих усадеб и обострившейся классовой борьбы намечаются первые признаки общественной реакции. Резкая оппозиция сменяется призывами к успокоению, и эта жажда „мирного порядка“ дает моральную опору первому „конституционному“ министерству Витте-Дурново. Выступая против стихийно поднимающейся революционной волны, правительство чувствовало за собой поддержку не только „истинно-русских людей“, но и всех тех, кому грозила возможность „перманентной“ социальной революции. С другой стороны, организуя выборы в Государственную Думу, правительство Николая II приобретало сочувствие не только внутри, но и вне страны: европейская буржуазия, особенно буржуазия Франции, была одинаково заинтересована и в русской конституции, и в ликвидации массового революционного движения. Обеспечить Россию от разрушительных потрясений, гарантировать ей прочность „социального мира“ — было одним из мотивов европейских банкиров, оказавших русскому правительству свое финансовое содействие. В апреле 1906 г. был заключен крупный внешний заем, который значительно укрепил положение власти.

Восстановив финансы, правительство одновременно привело в порядок расстроенные военно-технические силы.

Прекращение войны освободило громадную армию, которая была переброшена во внутренние губернии и широко использована для „подавления беспорядков“. Опираясь на эту военную силу, правительство Николая II могло развернуть сложную систему репрессий.

Впечатление этих репрессий соединялось с влиянием затяжного хозяйственного кризиса, — неизбежного результата войны и революции. Сокращение производства вызвало массовую безработицу, которая обострялась учащающимися локаутами. Непрерывная цепь забастовок, несмотря на частичные экономические завоевания, обессиливала и истощала рабочие массы. Накопленная энергия иссякала в напряженной и длительной борьбе. Настал момент, когда запаса этой энергии оказалось недостаточно, чтобы поддерживать массовое движение.

Кризис революции почувствовался уже в первые месяцы 1906 года, под свежим впечатлением декабрьского поражения. Созыв Государственной Думы (27 апреля 1906 г.) на время задержал и замаскировал совершившийся перелом. Небывалое событие первых „парламентских выборов“, широкая избирательная агитация, относительная свобода собраний и слова — разрешили сгустившуюся реакцию и создали атмосферу политического оживления. Оживление стало еще заметнее, когда с трибуны „первого русского парламента“ полились страстные оппозиционные речи. Хотя Дума собралась под знаком бойкота со стороны революционных организаций, в нее, однако, вошли представители рабочей и крестьянской массы. Рядом с речами либеральных ораторов звучали революционные призывы левых депутатов. Критика самодержавного строя, требование политической свободы, широкое обсуждение земельного вопроса — возбуждали политические интересы и явились ферментом нового революционного брожения. Период первой Думы (май—июль 1906 г.) отмечен возвратным приливом массового движения, которое захватило одинаково — и город, и деревню: экономические стачки перемежались с крестьянскими выступлениями, открытые политические митинги дополнялись потоком

свободной прессы. Казалось, возвращаются утраченные „дни свободы“, — еще немного, и твердыни императорской Бастилии развалятся под напором „народного гнева“.

Но в этом политическом оживлении не было прежней стихийной силы и прежнего бурного подъема. Движение стало организованнее, но мельче. Правительство не ошиблось, когда решило разрубить затянувшийся „парламентский конфликт“: роспуск Государственной Думы (8 июля 1906 г.) не встретил отпора со стороны трудящихся масс.

Преждевременные восстания свеаборгских и кронштадтских моряков (17—20 июля) были подавлены решительно и быстро; июльская забастовка столичного пролетариата казалась слабым подобием прежних — одушевленных и дружных стачек.

Так же неудачна оказалась попытка распущенной Думы обратиться к населению с призывом не давать рекрутов и не платить налогов: широкие массы остались глухи к „выборгскому воззванию“, — двойственная политика нового министерства Столыпина могла торжествовать свою окончательную победу над обескровленной революцией.

Революция замирала, — но этот очевидный факт не сразу был осознан в рядах революционного авангарда. Субъективное настроение передовых участников не соответствовало растущему индифферентизму масс. Активные деятели еще находились под сильным впечатлением пережитых событий; возбужденные борьбой, окрыленные верой в неизбежность народного восстания, они искали выхода собственной революционной энергии. Казалось, движение собирает новые силы, чтобы обрушиться на старый порядок последним девятым валом. Необходимо максимальное напряжение воли, чтобы помочь этому массовому собирателю сил. Необходима не только неустанная агитация, но и глубокая организационная работа. Ставка на массовое движение, на грядущее победоносное восстание масс определяла собой тактику всех революционных партий в течение весны и лета 1906 года. Но формы этой тактики были далеко неодинаковы. Для социал демократической партии, — без различия ее фракций, —

массовое движение составляло самую основу и сущность революции; можно было расходиться по вопросу о роли пролетариата в переживаемой революции, о вхождении во временное правительство, о технической подготовке восстания—об этом действительно спорили, долго и горячо, представители обоих социал-демократических течений. Но для всякого марксиста было бесспорно, что не героические действия отдельных лиц, а коллективные выступления масс составляют существо революционного процесса. Иначе формулировала свои тактические директивы другая крупная организация: партия — социалистов-революционеров. В соответствии с руководящим положением своей теории о роли отдельной личности, и в согласии с заветами „Народной Воли“, социал-революционеры придавали громадное значение тактике индивидуального террора. Террор, освященный ореолом героических жертв, закрепленный успешными выступлениями Балмашева, Сазонова и Каляева, признавался не только „эксцитативным“, возбуждающим средством, но и важнейшим орудием политической борьбы. Могущественная „Боевая организация“ привлекла к себе самые активные и преданные элементы партии. Руководители этой обособленной конспиративной ячейки пользовались особым авторитетом в Центральном Комитете. Террористическая деятельность соц.-революционеров была неизменно в центре внимания и общества, и правительства. Замедление массового движения не ослабило, а усилило волну террористических актов. Пока революция разливалась по всей стране бурными митингами, массовыми забастовками, вооруженными восстаниями—энергия отдельных личностей сливалась с этим массовым стихийным подъемом: в нем находила она точку опоры, в нем растворялась одним из слагающих элементов. Разрыв между психологией масс и психологией активного авангарда неизбежно отразился на изменении тактики. Героическое настроение, „боевизм“, жажда подвига не находили себе прежнего исхода; возбужденные эмоции требовали мгновенной волевой реакции и выливались в единичные террористические выступления. Чем ожесточеннее

становилась правительственная реакция, тем больше ненависти и чувства мести рождалось в сердцах активных революционеров. Бомба и револьвер, единичное убийство и партизанский набег должны были восполнить недостаток революционной действенности. Замирая, революция расплывалась на бесчисленное количество отдельных убийств, экспроприаций и покушений. Подъем этой террористической волны отмечает собой летние и осенние месяцы переломного 1906 года. На ряду с Боевой Организацией здесь действовали областные и местные комитеты партии с.-р., отдельные летучие отряды и обыкновенные частные группы. Орудие террора обращалось не только на крупных сановников, — ярких носителей реакционной политики, но и на мелких агентов правительственной власти: министры, губернаторы, генералы, полицейские пристава, сыщики, простые городовые, — никто не мог оставаться спокойным, никто не знал, что принесет ему завтрашний день. Борьба превращалась в беспощадный и страшный поединок, полный опасности и страстного напряжения сил.

Внимание Боевой Организации партии с.-р. в течение всего года было сосредоточено на особенно ненавистных защитниках старого строя: на усмирителе московского восстания адмирале Дубасове, на мин. вн. дел Дурново и на дворцовом коменданте Трепове. Генерал Трепов был предметом особенно настойчивых покушений, и не случайно он занимает такое видное место в воспоминаниях Е. Ю. Григорович. Невежественный, но храбрый конногвардейский офицер, — он вырос до положения негласного диктатора, возглавлявшего борьбу с революцией. Близость к придворным сферам обеспечила Трепову блестящую и быструю карьеру: вначале он — московский обер-полицеймейстер, организатор и покровитель знаменитой „зубатовщины“; после 9 января 1905 г. он получает должность петербургского генерал-губернатора, а через некоторое время — товарища министра внутренних дел, заведывающего всей полицией; в его руках „особые“, фактически неограниченные, полномочия по „ликвидации смуты“; от него исходят все директивы, все распоря-

жения и приказы; ему подчиняются все ведомства; он — в центре придворной камарильи и полный хозяин в царском кабинете; беспощадная репрессия и лицемерный компромисс — орудия его влияния и власти; ему доступны все средства борьбы, начиная с еврейского погрома и кончая переговорами с либеральной оппозицией; и когда октябрьская победа свергает его с прежнего поста, он превращается в дворцового коменданта, сохраняя всю силу своего прикрытого, но могущественного влияния. Генерал Трепов казался — и не без основания — тем главным рычагом, который приводит в движение весь механизм правительственной контр-революции. Ряд организаций и отдельных террористов вынесли ему смертный приговор. Все покушения на его жизнь кончались неудачно: окруженный грозной охраной, он умер неожиданно, но естественной смертью — от разрыва сердца, вскоре после роспуска Думы.

Неудачными были не только покушения на Трепова. Вся деятельность Боевой Организации в продолжение 1906 года была отмечена печатью бессилия и неуспеха. Несмотря на самоотверженную преданность террористов, на сложную и тщательную подготовку, начинания Боевой Организации или срывались, или прекращались самими участниками. „Центральный террор“ оказывался менее плодотворным и успешным, чем разрозненные выступления местных организаций. Теперь нам ясны причины этих последовательных неудач: руководителем Боевой Организации, завоевавшим могущественный авторитет в партии, был Евно Азеф, — „великий провокатор“, тайный агент департамента полиции. По его произволу создавались и невидимо разрушались все планы террора; и сложная паутина, которую ткали террористы вокруг своих жертв, тайно рвалась рукой того, которого считали великим и преданнейшим слугой революции.

Вопрос о причинах роковых неудач волновал не одного активного боевика; сомнения и колебания проникали глубоко в партийную среду. Но это были сомнения не в честности того или иного лица, а в применимости старых „испытанных“ приемов террора, в их соответствии условиям острого рево-

люционного момента. Натуры более активные и порывистые не мирились с застывшими формами размеренной и неторопливой работы. Продолжительные разведки, сложная система конспирации, „шлифование“ отдельных выступлений — казались ненужными и тормозящими настоящее революционное дело. „Ваш способ работы отжил свой век. Теперь нужно действовать партизански, а не сидеть по полгода на козлах“ — в этих словах одного из протестантов сказался тот самый дух оппозиции, который ворвался в партию соц.-революционеров и расколол ее на два принципиально различных течения.

Отрицание старой системы террора было не единственной формой назревающего раскола. Бурное веяние революции вызвало переоценку ценностей — и в вопросах теории, и в области практики. Пережитые события казались громадными, но раскрывающиеся возможности еще более безграничными. Вера в магическую силу революционного движения окрыляла широкими и смелыми надеждами; казалось, творческие силы восставших масс — неиссякаемы; еще немного — и мир увидит величайший из всех переворотов, желанное осуществление конечной цели, которое навсегда освободит поработанное человечество. Больше активности, больше героизма, — и задача социализации общества будет достигнута теперь же в результате могучего подъема революции. Не нужно колебаний, долой старую косность, крохоборство, оппортунизм. История возлагает на нас великую миссию, поставим себе максимальные задачи, утроим свои усилия, и победа будет за нами!

Таковы были выводы молодого партийного крыла, которое постепенно сложилось в самостоятельную партию „соц.-революционеров максималистов“. Зародыш этого движения можно подметить еще в период, предшествовавший революции: в 1904 году, в Женеве образовался кружок убежденных сторонников „аграрного террора“, которые резко разошлись со своими старыми учителями. Главой и вдохновителем кружка был молодой агитатор, — тот самый Михаил Соколов, который является центральной фигурой в воспоми-

нениях Е. Ю. Григорович. Молодые аграрники настаивали на революционировании старых приемов партийной работы, в частности на широкой и самостоятельной организации партизанской борьбы против отдельных помещиков. Переправившись через границу, М. Соколов и его последователи расширили свою первоначальную точку зрения: наряду с аграрным террором они начали проповедывать террор фабричный, наряду с партизанскими нападениями на отдельных лиц ввели в свою программу экспроприацию денежных сумм. Эти особенности в тактике группы не мешали ей оставаться в рядах единой партии соц.-революционеров. В качестве одного из смелых партийных борцов М. Соколов — „Медведь“ сыграл крупную роль в московском вооруженном восстании, а несколько позднее принял участие в деятельности „Боевой Организации“. Но тактика партийных комитетов и приемы товарищей-боевиков встретили с его стороны горячие и резкие возражения. Он делается вождем растущей оппозиции, которая недовольна партийными верхами и требует более решительной боевой тактики. Вокруг М. Соколова формируется ядро молодых горячих боевиков, из которых особенно выделяется герой пресненских баррикад, студент В. Мазурин. Группа обособляется и организует самостоятельные выступления. Одним из таких выступлений была нашумевшая экспроприация Московского Общества Взаимного Кредита, организованная 7 марта, среди бела дня, в самом центре охраняемой столицы. Проведенная необычайно смело, она не стоила участникам ни одной жертвы и закончилась захватом громадной суммы в 875 тысяч рублей. Блестящий успех этой первой крупной экспроприации завоевал группе значительный авторитет среди партийной молодежи. Этот момент совпал с глубоким кризисом в московской организации: недовольство системой крайнего централизма успело захватить широкие круги активных работников; произошел формальный раскол, и отделившаяся оппозиция сложилась в самостоятельную организацию на началах выборности и автономии своих органов. Группа Соколова и Мазурина составила авангард отколовшейся оппозиции и превратилась

в ее боевое ядро, которое сейчас же приступило к решительным действиям. Параллельно практической работе,—подготовке террора,—представители оппозиции старались оформить свои теоретические воззрения. Активный боевизм, который диктовал безумно-смелые выступления, нашел свое выражение в целом ряде статей и брошюр, появившихся легально в 1906 году. В противовес старой партии социалистов-революционеров, максималисты отказывались от обычного разделения „конечной“ и „ближайших“ целей, программы—максимум и программы-минимум. Конечную цель программы-максимум,—завоевание социализма—они считали ближайшей, очередной задачей происходящей революции; не Учредительное Собрание, не демократические свободы, а немедленный захват власти трудящимися массами и немедленная социализация земли, заводов и фабрик—таковы задачи сегодняшнего дня. С этой проповедью немедленного и радикального социального переворота „максималисты“ соединяли решительное отрицание парламентаризма, считая его орудием буржуазной эксплуатации и критикуя его в духе европейского анархизма. Но оставаясь социалистами-государственниками, они выдвигали своим идеалом—трудовую республику, как воплощение воли трудового народа ¹⁾.

Однако и здесь максималисты не были вполне последовательны: провозглашая принцип коллективизма, они допускали передачу земли и фабрик в собственность отдельных рабочих и крестьянских общин. В области тактики максималисты проповедывали активный боевизм: стачку, террор, партизанскую борьбу и вооруженное восстание они противопоставляли „парламентскому оппортунизму“ и бесплодной словесной агитации. В сложном конгломерате идей, которые характеризуют программу максималистов, заметно сильное влияние анархизма (в частности Кропоткина, Бакунина и анархо-синдикалистов); но в своих основных посылаках макси-

¹⁾ Под „трудовым народом“ максималисты, подобно партии с.-р., разумели пролетариат, трудовое крестьянство и трудовую социалистическую интеллигенцию.

максимализм опирается на то же учение Лаврова и Михайловского, которое проникает собой программу с.-р. „минималистов“. Не объективный учет экономического развития, а субъективный идеал справедливого и должного составляет основное существо их теории. Идеологи старого эс-эрта спешили выступить против новой доктрины, разоблачая ее непоследовательность и непродуманность. Разгоревшаяся полемика окончательно расслоила оба течения и дала теоретическое обоснование происшедшему организационному расколу.

По мере оформления теории и практики максимализма, многие участники оппозиции стали возвращаться обратно в покинутую партию: новые воззрения слишком раздвигали рамки первоначально вспыхнувших разногласий. Тем не менее, максимализм продолжал распространяться и находить себе новых адептов. Тайна его временного успеха коренилась в тех же условиях, которые поддерживали скоротечную вспышку русского анархизма: страдания безработицы и беспощадность репрессий вызывали среди передовых рабочих состояние ожесточения и злобы; отлив массового движения толкал на единичные террористические акты; расцвет „максималистских настроений“—характерное явление для летних и осенних месяцев 1906 года. Агитация максималистов, принимавшая моментами характер примитивной демагогии, падала на благодарную почву. Но ее влияние было непрочно,— оно не пережило самих основателей нового течения.

Несмотря на известный успех, максималисты не выросли до положения настоящей партии. Они оставались небольшой, но активной группой боевиков, которая с головой ушла в энергичную террористическую деятельность. Руководителем и душой группы оставался ее основатель М. Соколов, пользовавшийся большим уважением не только среди приверженцев, но и среди старых эс-эров. Максималисты располагали крупными средствами, завели несколько автомобилей, открыли лаборатории, устроили конспиративные квартиры. После ряда неудавшихся предприятий они организовали, наконец, террористическое покушение на председателя совета министров П. А. Столыпина 12 августа 1906 года, произ-

веденное на его даче на Аптекарском острове. Покушение это, не увенчавшееся успехом, стоило жизни самим террористам и 32 посторонним, не считая 26 раненых. В этом акте ярко сказались характерные черты нового тактического течения, которое отрекалось от сложной предварительной подготовки и не считалось с количеством возможных жертв. Ставя себе определенную цель, максималисты готовы были на все,—и прежде всего на собственную гибель.

Считая экспроприацию казенных капиталов допустимым средством для пополнения революционной кассы, максималисты 14 октября 1906 года организовали новое крупное нападение в Петербурге на углу Фонарного переулка и Екатерининского канала, завершившееся экспроприацией 386 тысяч рублей, принадлежавших портовой таможне; но успех покушения был куплен дорогой ценой — убийства, ареста и смертной казни многих участников экспроприации.

Постепенно силы максималистов таяли в неравной борьбе с окрепшей и хорошо организованной властью. Один за другим выбывали из рядов наиболее смелые и преданные члены. С арестом и казнью М. Соколова группа лишилась объединяющей скрепы. Наряду с внешними ударами, организацию поражала неизлечимая внутренняя болезнь: недостаток дисциплины, развращающее влияние „экс“¹⁾ и приток чуждого неидейного элемента. Потеряв лучшие из своих сил, группа окончательно распалась весной 1907 года.

Судьбу максималистов разделили и все аналогичные революционные течения. Дольше всех продержалась боевая организация партии соц-революционеров, тоже парализованная внутренним недугом разлагающей провокации. Разоблачение Азефа нанесло ей новый, на этот раз, моральный удар.

Так замирали последние отголоски пронесшейся революционной грозы. Несмотря на идейную чистоту и личный героизм многих участников, тактика индивидуального террора не достигла поставленной цели. Оторванная от массового движения, она была бессильна повлиять на ход по-

¹⁾ Экспроприаций.

литической жизни. Должны были пройти тяжелые годы реакции, чтобы движение воскресло опять — в мощном подъеме рабочих забастовок, в росте политических демонстраций, наконец — в решительных и победоносных восстаниях 1917 года.

Война, революция и утверждение советского строя — проложили резкую грань между прошлым и настоящим. Поблекли многие из старых знамен, изменились многие из прежних лозунгов. Партия социалистов-революционеров тоже стала иной; она откололась от массы, вступила в активную борьбу с советской властью и, отброшенная потоком революции, потерпела полное политическое поражение. Новая жизнь пошла по иным путям, поставила себе другие исторические вехи.

Но этот вывод не лишает воспоминаний Е. Ю. Григорович их несомненного значения и интереса. Они возвращают нас к прошлому — в период героической борьбы террористов против самодержавного царизма. Перед нами воскресает минувшая эпоха, разворачивается ее политическая и бытовая обстановка, раскрываются внутренние переживания ее деятелей. Это — „человеческий документ“, один из источников для понимания событий и настроений первой русской революции.

Н. Дружинин

ЗАРНИЦЫ

Вода измельчает и точит песок.
А берег все тот же, и путь все далек.

К. Д. Бальмонт.

ПРЕДИСЛОВИЕ

События настоящего времени невольно вызвали в памяти неизгладимые образы прошлого, которые, подобно зарницам, предвещали разразившуюся теперь грозу.

Предлагаемые наброски составлены по личным воспоминаниям автора, близко стоявшего к выведенным здесь лицам и событиям.

За исключением „Елены“ здесь сохранены подлинные имена или партийные „клички“, поясненные там, где это представляет исторический интерес. Разговоры воспроизведены с возможной точностью — наиболее характерные выражения удержались в памяти дословно.

Чтобы не нарушать художественной цельности и исторической последовательности, автор воспроизводит все так, как оно было и как воспринималось участниками событий в то время, воздерживаясь от всякой личной окраски и критики со своей настоящей точки зрения.

Записки посвящаю светлой памяти М. Соколова — „Медведя“, чьи исключительные силы нашли точки приложения, чтобы „дать колесу истории максимальный размах“ и влить в историю свою струю глубоко-человечного подхода к ней и страстного идеализма.

Е. Ю. Григорович

Москва. 1-го января 1921 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

„Мы хотим дать колесу истории
максимальный размах“

„Медведь“.

I

Весна 1906 года.

В Москве раскол между правоверными эс-эрами и „оппозицией“. Теоретические расхождения программы минимум и максимум пока еще не обозначились — все больше вопросы организации, тактики. А в основе — незримая подкладка из вечного столкновения двух оттенков одного цвета и органическое несходство всего душевного склада. В лучших своих проявлениях одни — догматики и реалисты, другие — импровизаторы и романтики. Одни хранят под пеплом священный огонь, другие щедро расточают кругом огненные семена. Одни благоговейно досказывают лучшие слова отходящей культуры, другие кощунственно вырубают священные рощи и проводят на их месте глубокие борозды для грядущих всходов.

„Римляне“ и „Варвары“.

* * *

В глухом уголке Петровско-Разумовского на траве сидят большим кругом человек в 70 партийные работники. Общее собрание. Момент роковой. Оппозиция откололась окончательно, никакие соглашения немислимы. Целые районы зара-

жены ее духом „экспроприации“, „авантюризма“, „демократизации“; выборное начало вместо кооптации в корне подрывает строгую конспиративность работы. Необходимо оградиться и сохранить чистоту Партии.

Последний, очень важный, доклад — мой, как представителя Военной Организации, о переходе всего состава организации в оппозицию.

Чтобы не мешать раздроблением, одни работники переходят в рабочие районы, сочувствуя оппозиции, но не желая порывать с Партией; другие присоединяются ко мне. Солдаты же и вольноопределяющиеся поголовно вступают в „Военный Союз“ оппозиции. Таким образом, в распоряжение Комитета остаются шифры, списки полков и рот, имена солдат, адреса конспиративных квартир — все на бумаге. Личный же состав Военной Организации сводится к единоличной особе комитетчика, Андрея Николаевича, которому и предлагаю принять дела.

Впечатление ошеломляющее.

Один Андрей Николаевич, несмотря на трагикомизм своего положения, сохраняет обычный — суровый и непреклонный — лик и твердо отчеканивает, что Комитет не откажется от работы в войсках: „было время, когда мы начинали ни с чем, начнем дело сызнова еще раз. Нам важна работа не вширь, а вглубь, один стойкий, убежденный эс-эр в военной среде для нас ценнее десятка недорослей, тяготеющих к этому профессиональному союзу“ ...

На лицах одних читаю немой упрек. Другие безмолвно сочувствуют, однако, надеются побороть консервативный дух московского Комитета в процессе работы.

Возвращаюсь из Разумовского с группой таких сочувствующих. „Не уживетесь вы с ними, товарищ Юрьева“, говорит один из них. „Чистое дело требует безукоризненной чистоты принципов и отделки“. — „А еще больше безукоризненно чистых душ“, возражаю ему. Он срывает несколько полевых цветов и подает мне со словами: „Это вам надгробные цветы“.

Что ж! Гробницы могил — врата в новую жизнь

* * *

Пробираюсь на Лосиный остров за Сокольниками. Вот и канавка, и кладка, и человек с зеленым листиком в петлице. Спрашивает: „не знаете ли, который час?“—Отвечаю: „47“. — „Направо к березе, там увидите тропинку“...

Оппозиция в сборе. Обсуждение организационного устава, доклад о присоединении Военной Организации.

„Давно бы так!“ весело приветствуют меня товарищи по прежней общей работе.

Через полчаса подсаживаются еще двое: один очень тучный рядом со мной, другой поодаль. Проходит минут двадцать. Я наблюдаю новых, мне становится не по себе. Плоская, тупая голова... и этот жирный красный затылок...

— Кто это? — спрашиваю потихоньку Мазурина.

Мазурин всматривается, встает и по-тигриному быстро и бесшумно подходит к моему соседу.

— Кто вы, товарищ? Откуда?

„Товарищ“ смущается.

— Из провинции — от Рязанской организации — нас, мы оба делегированы.

Пароль? Не знают. Как прошли? Кто их пропустил?

Смятение. Собрание прерывается.

Наступает неизбежная, тягостная сцена. Из карманов извлечены документы, не оставляющие никакого сомнения относительно качества двух „товарищей“: удостоверения охранки, списки шпионов-извозчиков, несколько имен и адресов поднадзорных и их характеристики...

Их отводят в сторону и стерегут с наведенными браунингами. Присутствующие наскоро, в полголоса, совещаются, сговариваются и быстро расходятся. Остается небольшая группа для допроса и суда.

У меня перед глазами жирный красный затылок. Я мучительно знаю, что через несколько минут это будет только мясная туша.

Липкий, всхлипывающий голос: „Да, служу в охранном, но — клянусь вам — не выдал никого... в душе я

тоже революционер... буду оказывать вам услуги... Товарищ"...

„Какой я тебе товарищ!“ прерывает его взбешенный Мазурин. „Довольно! Не надо нам таких услуг!“

Темнеет. Отовсюду доносится топот копыт, посвистывание — казачьи разъезды. Кошмар сгущается.

Сыщиков привязывают к деревьям — могут сбежать, позвать — а сами отходят в сторону, чтобы решить, как с ними быть. Все кажется мне далеким, не настоящим, будто во сне. Вместе с тем совсем близко слышу свой собственный — „чужой“ — голос, четкий, деловой: „надо завязать им рот — могут свиснуть“. — „Ах, черт возьми, правда! У кого платки без метки?“

Совещаемся быстро, в пол-голоса. Положение безвыходное — они знают теперь организацию в лицо, слышали почти все — пощадить их невозможно...

На месте остаются два исполнителя приговора. Остальные бесшумно исчезают в зарослях. Я не успеваю еще выбраться на дорогу, как раздаются два выстрела...

Окольными путями, убедившись, что никто не следит, поздно вечером добираюсь, наконец, до дому. Кухарка встречает меня залпом восклицаний. „Что сын-то рассказывает! В Сокольниках двух студентов убили! Он сам их видел — к дереву, говорит, привязали... Один наповал, а другой жив еще. Сеня помогал на извозчика взвалить — тяжелый такой, полный — в бесчувствии... В Лефортовский госпиталь отвезли... Господи, ведь это что!..“

А за ужином дядя повторяет и комментирует рассказ Прасковьи, и раскладывает свои бесконечные пасьянсы, и сетует, что я ничего не ем — „не знаю уж, чем тебя кормить“. Я: „дядя, двойку на туза“, — а сама боюсь, что вот кончится эта бесконечность, а еще столько часов до утра...

Утром все газеты говорят о „загадочном“, „дерзком“, „преступном“ убийстве на Лосином острове. Но меня это уж не волнует — подхватил напряженный ритм жизни, надо действовать, надо не промахнуться — не до себя.

Через несколько дней у меня собрание — человек пять. Сведения неутешительны: уцелевший — Раут, сыщик по особо важным делам, близко стоящий к градоначальнику Рейнботу, которому спас когда-то жизнь.

Мы избегаем всякой лирики, однако, всем нам тягостно. Кто-то не выдерживает: „гадко, товарищи, на душе“...

Высказываемся. Всех, как и меня, преследует образ тучного.

Но ведь он жив! А другой — сразу покоровившийся, сразу убитый, — о нем никто не думает. Его будто и не было.

Как понять? Или — „дело сделано чисто?..“

* * *

Работа кипит. Собрания, кружки, массовки, циклы прокламаций на определенную тему — вроде лекций, своя газета. Солдаты дружно примыкают к Союзу, сами пишут статьи, сами выделяют из своей среды организаторов. Союз растет с периферии, мы только направляем, объединяем, снабжаем литературой, готовим побег заключенных.

... Возвращаемся с собрания в Петровско-Разумовском к паровичку. Около часу ночи — прозрачной, благоуханной, июньской ночи. Из одной дачи раздаётся пение — итальянская ария. Голос прекрасный — звучный и мягкий.

„Знаете, кто поет? Наш Володька. Какой-то италианец-маэстро увлекся его голосом, поселил у себя, обучает пению. Лучше законспирироваться и не придумать. А полиция с ног сбилась — ищет Мазурина по всей Москве“...

Последний трамвай. Пустой. Заполняем его и к смущению кондуктора во весь голос поем марсельезу.

Охваченный дерзким задором, вагон весело мчится вдоль спящей улицы, мимо Бутырской тюрьмы...

* * *

Томительная история очнувшегося мертвеца все еще тянется. Он поправляется и, повидимому, уже дает показа-

ния. Вчера к нему приезжал сам Рейнбот ¹⁾, что то записывал с его слов.

В Лефортове есть свои. Надо спешить.

Неудачного исполнителя приговора мучит, что он невольный предатель всей группы. Он настаивает, чтобы ему дали довести дело до конца. Однако, на меня он производит впечатление человека в конце потрясенного и нервно разбитого, поручить это ему по меньшей мере неосторожно. По этому поводу у меня свидание с Василием Дмитриевичем ²⁾.

Много слышала я об этом твердом, неуклонном, бесстрашном работнике, но вижу его впервые. Я представляла себе его совсем иначе и меньше всего ожидала этой тишины и ясности. Неисчерпаемая кротость, великая смиренная простота звучит в голосе, лучится в глазах. Он успокоительный. Если переложить его на музыку, это будет *Andante* Бородина.

У него длинная, тонкая шея — обреченная!..

Говорю ему о своем впечатлении от т. А.: „и зачем такой слабонервный берется за дело! Какой он боевик!“

Василий Дмитриевич примирительно: „Что поделаешь! Ведь тут был безоружный, привязанный... мы не палачи“...

Мой профессиональный пафос падает. У Василия Дмитриевича больше права негодовать, осудить, а он просто понимает.

Соглашаемся на том, что т. А. следует на время совсем отстранить от всякой работы — провалит себя и других. Василий Дмитриевич хочет даже переправить его за границу. „Пусть отдохнет парень, поправится, да и положение то его здесь уж очень опасное“, говорит он задушевно. „А за дело берется Таня — недавно приехала из заграницы — знаете ее? Племянница Трепова... С ней и переговорите“.

Я возмущенно рассказываю о новых нескончаемых распрях с партийными — неужели и они, и мы не можем стол-

¹⁾ Московский градоначальник.

²⁾ Виноградов.

коваться, размежеваться и не мешать друг другу и самому делу?!

„Повздорили ребятушки,“ эпически замечает Василий Дмитриевич.

* * *

Мой отец едет на лето в Петергоф погостить у своего приятеля, директора дворцового госпиталя. У нас много родственников и знакомых в великосветском круге. Полагаю, что теперь не будет препятствий к моему переходу в Боевую группу — там я могу быть полезнее, чем здесь.

Василий Дмитриевич соглашается. „Наднях сюда приезжает из Петербурга Медведь — он организует теперь боевиков, собирает людей — ваше предложение кстати. Направлю его к вам“.

* * *

Узкая длинная комната, похожа на каюту. Из угла в угол, слегка раскачиваясь вперед, шагает высокий белокурый юноша с отрочески чистыми серыми глазами, упрямым лбом, сильный и легкий. Напряженная воля и творящая мысль играет, словно световой зайчик, между чуть заметными светлыми бровями и сильно обозначенными надбровными дугами. У него характерная манера моргать — вроде легкого подергивания. Я бы сразу узнала его по этому...

Он ходит из угла в угол, а впереди словно летит вихревое облако его мыслей, воли, энергии — он будто гонится за ним. Он солнечный. И есть в нем „божья гроза.“ Творец жизни, прозревающий отдаленные ее шаги.

Это — Медведь ¹⁾.

Почему Медведь?

Ничего нет „медвежьего“. А все-таки есть. Может быть в походке? Но не здешнего медведя, а стройного, грациоз-

¹⁾ Михаил Соколов.

ного. Он будто отголосок заколдованного принца, превращенного когда-то в медведя!..

Вместо обычных конспиративных разговоров, разработки планов — сразу полет.

„... История—говорит он—идет по равнодействующей: чем левее отклонимся мы, тем левее направится и равнодействующая сложного параллелограмма сил истории. Мы хотим дать колесу истории максимальный размах. Наша программа еще не выработана, организация наша едва лишь возникает, но мы уже не местная „оппозиция“ московскому комитету — мы вливаемся в широкий поток максимализма... Пусть немедленная социализация фабрик и заводов неосуществима, как прочное завоевание, пусть это будет лишь минутный захват — один миг реальной власти пролетариата приблизит его будущую власть на многие годы. Идея должна воплотиться хоть на мгновение — она даст росток, из которого разовьется дерево социализма...

... Воссоединение с Партией? Нет. В целом невысказано. Однако, желательна общая работа с ее боевой организацией, как согласование тактики, стройность действия, экономия сил, времени, средств. Скоро надеюсь повидать кое-кого из Боевой организации в Петербурге“.

— „Великого“ Ивана Николаевича? ¹⁾

— Нет, нет. Только не его. С этим я никогда не столкнусь. Не человек, а машина. Чиновник боевых дел. Нет — вскоре ожидается Павел Иванович ²⁾ — по правде сказать — единственный, с кем хотел бы работать из них.

В заключение переходим к ближайшему будущему. Я предупреждаю, что никакого заранее выработанного плана у меня нет. Есть точка — Петергоф. От нее должен начаться расширяющийся конус.

— И прекрасно! Вы, ведь, художница, а жизнь тоже творчество, и материал у вас в этой точке богатый, единственный...

1) Азеф.

2) Савинков.

* * *

Полночь. По платформе Николаевского вокзала, вдоль шпалеры шпионов, мимо зорких жандармов хожу с дядей в ожидании отхода курьерского. Дядя — важный красивый полковник, „конспиративный“... С ним очень „конспиративная“ собачка — вся в брелочках, бубенчиках на сбруе.

Дядя несет мой дорожный несессер — не чересчур новый, но дорогой, тоже „конспиративный“. Дядя и не подозревает, что внутри около 400 тысяч — половина добычи той (первой) экспроприации в банке Кредитного Общества, о которой вся Москва говорит вот уже третий месяц. „Среди бела дня — подъехали на рысаке — руки вверх... Из соседнего дома все видно было в окна, думали — присягают!“...

— Ну, христос с тобой, — крестит дядя на прощанье, — Кланяйся папе, поправляйся... Напиши, как...

Поезд уже летит.

И душа летит — к давно желанному кресту — „за други своя положить душу свою“...

II

Москва и Петербург — две станции в 12 часах езды. Но для меня Москва и Петербург — два мира, так же непохожие друг на друга, как не похожи цветущие луга и шумные потоки горного склона на снеговое безмолвие вершин.

И здесь жизнь бьет ключом, и здесь мнутся людские страсти, громко ликуют одни, глухо стонут другие. Но для меня весь мир словно за толстой стеклянной стеной: я вижу движения и не воспринимаю звуков. Жизнь в кольце смерти.

* * *

Небольшая уютная квартирка в Поварском переулке. Здесь недавно поселилась юная чета: муж где-то служит, кажется, в торговом доме, жена молодая, красивая, все больше ходит по магазинам да по модным мастерским — не даром же

из провинции попала в столицу. По вечерам часто уходят в театры, ужинают в ресторанах, домой возвращаются поздно. Живут душа в душу — уж такие хорошие господа!

Так судит о них прислуга, оставленная при квартире, которую хозяева передали на лето приезжим.

„Вы не можете себе представить, говорит мне Наташа¹⁾, — как тягостно так жить, разыгрывать из себя барыню. Вот посмотрите, что приходится покупать для виду“ — и показывает дешевенькие ленты, „бриллиантовые“ застёжки, „золотые“ безделушки. — „Как вы думаете, прислуга, ведь, не разберет, что поддельные? Так жаль денег на конспирацию!“

„А если бы вы знали, как трудно нам было с Медведем первые дни! Все сбивались на „вы“... А первые ночи! Мы спали, не раздеваясь... Теперь уж ничего, привыкли, как брат и сестра — будто на этапах“.

Дня три живу у них. В Петергофе придется первое время совсем отрезаться от своих — предстоит, вероятно, самая изощренная слежка.

И Медведь и Наташа очень заняты. „Служба“ и „Гостиный двор“ — это целый ряд конспиративных дел, явок, собраний, заказов, найма квартир. Все это сопряжено с множеством предосторожностей, чтобы не „заразить“ Поварской. Теперь предстоит устроить еще одну „чету“ — Василия Дмитриевича и Надю²⁾: их в роскошной квартире на Гороховой. Это „крупные коммерсанты“, занятые теперь покупкой автомобиля.

В первый же вечер мы идем на „званный ужин“. Горничная помогает нам переодеться, а когда „туалеты“ готовы, мы с Наташей запираемся на ключ и пришиваем за широкие пояса карманы для браунингов.

* * *

Многолюдное собрание в доме знакомого адвоката, доставившего нам свою квартиру. Прислуга с барыней на

1) Климова.

2) Терентьева.

даче, а барина „внезапно вызвали, их тетушка заболела — докладывает швейцар — они просили обождать их“.

Еще несколько „гостей“ поднимаются по парадной лестнице, остальные поодиночке черным ходом.

Медведь предлагает собранию свой последний план. Временно воздержаться от всяких единичных выступлений и все силы направить на захват Государственного Совета. „Нужно будет проникнуть на заседания, ознакомиться с планом здания, распределить заранее места и роль товарищей, а в должный день и час мы с бомбами займем помещение изнутри, в подкрепление подъедет автомобиль с дружиной — это будет сигналом для действия. Под угрозой взрыва всего и всех, мы арестуем Совет и продиктуем свои условия, и будем держать их в плену, пока не сдадутся. Весьма вероятно, что такое событие, как захват Государственного Совета, всколыхнет напряженно настроенные массы, вызовет энергичный шаг в Думе и поднимет восстание — в войсках и в Кронштадте уже назревают волнения. Надо найти фокус, в котором соберутся рассеянные революционные лучи, чтобы произошел взрыв скрытого брожения, и таким фокусом будет захват Совета.“

„Здесь и неудачи быть не может, потому что даже „неудача“, т. е. сопротивление, вызовет немедленный взрыв всего собрания. Мы погибнем, но погибнут и те, на кого в отдельности предстояло бы организовать ряд покушений. Даже и такой „неудачный“ исход будет победой и искрой, которая воспламенит накопившийся порох“.

План Медведя принимается единодушно, восторженно. Все согласны ждать, нести самую незаметную, скучную работу, отказаться от единоличных „славных“ выступлений, чтобы всем вместе, безличной группой, победить живыми или мертвыми.

Перерыв. Пьем чай, обмениваемся мнениями, когда вдруг на кухне раздаются чьи-то шаги. Никого, но дверь на лестницу открыта. Ясно, что кто-то был — кому-ж быть, как не дворнику! — очевидно догадался про собрание и пошел за полицией.

Медведь распоряжается быстро, кратко и спокойно. Одни будут прорываться по парадной, другие по черной. Выстроиться по парно, кто с оружием — впереди. Живыми не сдадимся.

Мы уже построились в две колонны, когда в кухне появляется запыхавшийся, сконфуженный товарищ — ему стало нехорошо, вышел на лестницу освежиться...

„Чорт бы вас побрал! Ну — ничего, генеральная репетиция!“

Общий веселый смех.

Собрание продолжается. В Исполнительный Комитет избраны пять человек, в их числе Медведь и Василий Дмитриевич. На предстоящее дело им предоставляется полная диктатура.

Поздно ночью возвращаемся домой и еще до рассвета беседуем.

Мы трое будто подхвачены вьюгой и мчимся в белых вихрях — вольные, с вольным ветром...

* * *

В Петергофе железное кольцо конспирации сжимается еще теснее. Я в стане зорких, изошренных врагов, и ни на минуту нельзя сбросить с себя шапку-невидимку.

Но в особенности тяжела эта шапка-невидимка по отношению к моему отцу — другу и единомышленнику; от него у меня до сих пор не было тайн. Однако посвятить его в свои дела я считаю на этот раз недопустимым — о таких вещах говорится лишь тем, кому нужно, а не только можно знать. К тому же истинное незнание часто самая лучшая конспирация, а ему вряд ли избежать в будущем самого утонченного допроса. И, наконец, — да минет его чаша сия, пока не настанет его час...

Но и с ним придерживаюсь обычного для себя приема лжи — „почти правды“. Это „почти“, всего полутон, меняет весь регистр, позволяя сохранить общее построение.

Итак — в Петергофе я отдыхаю, бросаю на лето партийные дела, но хочу воспользоваться исключительными

условиями, укрепиться в светском круге, возобновить прежние знакомства, завязать новые — все это пригодится для будущей организации, которую близкая мне группа собирается ставить зимой в Петербурге. „Ты не беспокойся, если я и останусь здесь на зиму, моя роль будет косвенная, информационная, это не опасно. А вернее, что осенью уеду за границу — тогда тем более нужно использовать положение и передать своим побольше сведений“.

Отец верит, сочувствует и охотно помогает мне устроиться в Новом Петергофе и войти в круг его знакомых. При его же содействии я получаю билеты на заседания Государственного Совета.

Я нанимаю комнату в семье придворного лакея Клепикова, на самом бойком месте. Здесь постоянно проезжают со станции во дворец, из дворца кататься или с визитами. Окна выходят на площадь дворцового театра.

Хозяева доверчивы, радушны и словоохотливы. Через две недели я уже знаю, что налево почти рядом живет Трепов, а по ту сторону дача гр. Орлова; что во дворце Екатерины II (по определенным дням пускают публику осматривать) останавливаются высокопоставленные гости, а по воскресеньям парадные завтраки, и на них присутствует (между 2 и 4) сам „Папаша“ — так зовется у придворной челяди Николай.

Все население Н.-Петергофа, за исключением должностных лиц и немногих, хорошо известных охране, дачников, состоит из „паучков“, как называют здесь сыщиков. Они живут под видом дачников, лавочников, извозчиков, трактирщиков — весь Петергоф густо заткан охранной паутиной.

Один из „паучков“ живет у Клепиковых, мой сосед по комнате, Николай Андреевич Кирсанов. По этому случаю умышленно „забываю“ запереть на ключ шкатулки, чемоданы, спрятать письмо или карточку. Живу, как в витрине магазина. Играю на рояле, рисую, часто бываю в гостях, в парке на музыке.

Знакомые дополняют картину. Особенно полезно бывать с ними на музыке — они охотно показывают свои „досто-

примечательности“: „вот прошел Мин... а там с дамой Риман—он теперь в штатском (так вот где прячется ускользнувший от мести неуловимый Риман!). Это Нижняя дорога—за воротами дорога к Ропшинскому дворцу (резиденция Николая): здесь перед закатом часто проезжает государь кататься... У Золотой горы в коляске Трепов—его любимое место, отсюда слушает музыку...“

* * *

После двухнедельного карантина, убедившись, что ко мне окончательно привыкли, и что „паучки“ отхлынули, я опять сижу с Медведем и Наташей на низеньком диванчике у рояля в Поварском.

Вручаю им билеты в Государственный Совет. Наташа пойдет со своим знакомым, сослуживцем ее отца. Отец Наташи сам член Совета, но, к счастью, теперь он в отпуску.

Я рассказываю, какой конус вырос у меня в Петергофе из первоначальной точки.

— Да это целый клад!—воскликает Медведь.—Сколько времени, сил и денег уходит, чтобы проследить сотую долю того, что вы шутя сделали в две недели. Вас бы следовало совсем отстранить от похода на Совет и сохранить для будущего.

— Но ведь будущего не будет после Совета—вы же сами сказали, что „даже поражение будет нашей победой“,—шучу я,—зачем мне оставаться каким-то консервом!..

Медведь не возражает, смеется.

— Сыграйте чтонибудь на прощанье,—говорит он,—так хочется музыки. Я профан, но очень люблю ее. Вот это—мое любимое...

И робко подает романс: „В тени задумчивого сада“.

* * *

Обедаю в Петергофе на балконе ресторана на главной улице. Вдруг происходит нечто неуловимое, но несомненное, будто чьи-то невидимые руки моют воздух. Чувствуется на-

пряжение и на балконе. Я еще не понимаю, в чем дело, но уже ясно, что чего-то ждут.

Улица опустела — невидимые руки разогнали пешеходов и экипажи. По шоссе проносятся рои „паучков“ на велосипедах.

А потом — в опрозраченном воздухе появляется коляска, запряженная парой, в ней — что же это? новогодний № „Нивы“ — портреты из актового зала гимназии? проносится в голове. Я не сразу сознаю, что это живой, настоящий Николай II и Алиса.

Николай глупо улыбается. У Алисы такой вид, будто она раз навсегда обиделась на весь мир.

Я вижу их в первый раз в жизни.

Я понимаю кошку, которая смотрит на плавающих в аквариуме рыб за толстым стеклом...

Если мысли действительны, то в эту минуту где-то в мире должна была скатиться звезда.

Здесь все по прежнему. — Пока.

* *
* *

В зале Дворянского собрания. Места для публики за колоннами вокруг партера. В партере — ниже, чем места за колоннами — происходит заседание Государственного Совета („как в котловине — легко будет окружить“). На кафедре кто-то что-то читает. Старцы, которых забыли похоронить, понемногу засыпают...

„Так все согласны?“ повышая из последних легких голос, спрашивает председатель, кажется, самый древний из всех этих ископаемых. Из глубины сонного оцепенения раздается несколько восторженных голосов. „Я не согласен... Мы не согласны...“ — „Единогласно?“ — выдыхает председатель. „Ну и прекрасно. Значит, пункт первый принят. Благоволите продолжать“, обращается он к докладчику. Попытки протеста замирают, как звук в вате. Понемногу зал снова погружается в сонное оцепенение. Кто-то что-то читает с кафедры.

Недалеко от нас сидит красивая брюнетка, оживленно расспрашивает своего кавалера о заседающих. Он, видимо, здесь свой человек, называет со скучающим видом громкие имена. Отец изнывает от скуки. Рассматривает публику. „Какое хорошее лицо“, говорит про Наташу. Я небрежно: „да, красивая“. — „Не только красивая — умное, благородное лицо. Подсядем к ним, я тут многих не знаю — спросим...“ — „Зачем, папа? Отсюда слышнее речи... и человек, им, может быть, хочется вдвоем“.

Отец неоднократно порывается к ним. С трудом — один предлог глупее другого! — отговариваю.

Нет, неведение не всегда лучшая конспирация!

„А посмотри направо — тоже интересное лицо — нет, там в сером...“

Смотрю направо. У балюстрады сидит Медведь, горящий взгляд пристально устремлен куда-то в партер. Бегу взглядом за его взглядом — граф Игнатьев. А у Медведя в кармане браунинг.

Понимаю.

Еще одна звезда должна была сорваться с неба...

Но здесь — все по прежнему... Пока.

Здесь пока вся „звездная палата“ налицо.

Перерыв. Идем в буфет. Красивая брюнетка ест мороженое и, небрежно окидывая взглядом помещение: „А когда построено Дворянское Собрание? А этот зал куда выходит?“

Под вечер в Поварском. Ах, как хорошо! Одни, втроем, после „первого бала“. Делимся наблюдениями, набрасываем план здания, намечаем посты. Медведь ухитрился проникнуть даже на черную лестницу — „по ошибке!“

— Ну, как я себя держала? Не заметно, что я „такая“? — простодушно спрашивает Наташа.

— Нет, вы хорошо. Но Медведь!...

— Знаю, знаю — Игнатьев? — Медведь хватается за голову: — Ах, что я пережил!..

— То же, что я при виде „портретов из Нивы“, — говорю с легким упреком.

— Нет, больше. У вас в ту минуту ведь не было снаряда под рукой!...

* * *

Ночью в доме у нас тревога: приходили, пошептались, быстро ушли, потом опять пришли и долго шептались.

На утро Клепикова сообщает, что Николай Андреевич получит теперь награды — ночью поймал важного преступника, готовилось покушение — „забыла уж фамилию — жид из чайной фирмы — Моц, Поц, что ли...“

Продолжаю рисовать. Молчу. Гоц! Абраша Гоц! молнией пронсится в уме. Значит и эс-эры заняты Петергофом... надо их поскорее известить...

„... За ним уж дней десять следят, продолжает Клепикова, умудрился таки поселиться здесь, да нашего Николая Андреевича не проведешь... приставлен к особе Трепова — двести рублей в месяц — двенадцать помощников — передеваются по 3—4 раза в день — картуз, котелок, фуражка — на велосипеде...“

Двенадцать помощников умножить на картузы, фуражки, котелки — сколько это будет?

„... Надоела я вам своей болтовней, мешаю работать“, говорит по обыкновению Клепикова и по обыкновению не уходит.

— Нет, что вы, Анна Васильевна, я слушаю.

— Мимо нас везли-то его под утро — я видела.

— В Петербург?

— Нет, пока дня два подержат в тюрьме в Старом Петергофе, так уж водится... Нелегкая тоже служба наших паучков...

Разговор переходит на трудности жизни вообще — дети растут...

* * *

На следующем заседании Совета кроме нас трех еще пятеро наших.

Чтобы испытать, можно ли будет пронести часть снарядов в руках, беру с собой два фунта конфет. Уже разделась

и поднимаюсь по лестнице. Меня догоняет светский молодой человек. С изысканной вежливостью: „Сударыня, я должен извиниться и попросить вас оставить пакетик в вестибюле“.

— ?! Конфеты?!

— Да, нелепое распоряжение... Разрешите—чтобы не затруднять вас—я передам—ваш номерок?

Я—тоном герцогини:—Пожалуйста.

Во время заседания к Медведю подходит камердинер, извиняется, спрашивает фамилию. Медведь невозмутимо: „В чем дело?“—„Тут дама одна просит вызвать барона Дризен—я подумал, не вы ли будете“.—„Нет, нет“.

Незримый смычок провел по струнам двух душ *crescendo—diminuendo*...

При выходе получаю свои конфеты обратно. Я заранее сделала пометку на ленточке, которой обвязана бонбоньерка. Пакет был вскрыт. Конфеты в целости.

Здесь настороже. Медлить нельзя. Василий Дмитриевич и Надя уже обзавелись квартирой и автомобилем—вишневого цвета, это в стиле богатых купцов. Снаряды, браунинги—все готово. Остается передать дела тем, кто продолжит организацию после нас.

* * *

Моя петергофская маска—маска художницы, которой органически чужда всякая политика вообще. Это дает мне свободу мнений, избавляя от необходимости на каждом шагу отрекаться от самой себя. За щитом—палитрой я благополучно миную Сциллу придворной охраны и Харибду всеобщего—даже и здесь—либерального течения.

Как папский Рим самый атеистический город в Италии, так и Петергоф таит в себе больше крамолы, чем любое общество с его дешевым свободомыслием. Здесь слишком близко стоят к очагу бесправия, чтобы пробавляться слухами и „достоверными“ сведениями из десятых рук. Придворные видят, знают и—пользуются, а „après nous le déluge“. Они читают черновскую „Мысль“, „Былое“, прокламации, смеются над Николаем, с напряженным интересом

следят за Думой — там настроение повышается с каждым заседанием.

* * *

Роковой день близок.

Время помчалось с возрастающей быстротой: оно превратилось в спираль, где с каждым оборотом круг сжимается все тесней, и все сильнее действует притяжение центральной точки.

Она ослепительна. Все, что было до сих пор яркого в жизни, меркнет перед этим жертвенным костром.

В глубине души мы уверены, что победим, погибнув сами. Но мы никогда не говорим об этом, да едва ли и думаем. Так на последних уступах горной вершины все внимание направлено на преодоление препятствий, на тщательное соблюдение мельчайших предосторожностей.

Зато в редкие минуты передышки впечатления жизни воспринимаются с небывалой полнотой и яркостью, рельефно выступают те стороны предметов и явлений, которые раньше не замечались, и волшебным просветленным представляется мир.

... Еду с Наташей по Невскому. Адмиралтейская игла сверкает в багряных лучах заходящего солнца.

Наташа говорит:

— Сколько лет изо дня в день видишь закат—иногда любишься им, иногда не замечаешь, как слишком привычное. А за последнее время он кажется мне настоящим чудом... И вся жизнь, и природа, каждая мелочь в ней такое большое чудо и красота... Странно, что люди боятся умирать. А по-моему близость смерти открывает перспективы, каких в обычной жизни не видишь. За несколько дней этого прозрения и этой сгущенной жизни так легко отказаться от долгих лет благополучия—ведь правда?

— Правда, Наташа. И ничего нет прекраснее, как оборвать свою жизнь на высокой ноте.

Мы расстаемся спокойные, ясные в лучах нашей последней зари. Завтра иная зоря запылает для нас.

* * *

Клепиковы встречают меня радостно-встревоженными восклицаниями. „А мы уж боялись, что вы опять заночуете в городе... Такие слухи нехорошие... завтра, говорят, собираются взорвать Сенат, кажется, или дворец Мариинский... На улицах-то что будет—долго ли до беды! Уж не ездите завтра.“

— Пожалуй не поеду,—соглашаюсь для виду.

... „Сенат“ — почти что Совет! а в Мариинском дворце выдавались билеты на заседания Совета!.. И „пакетик оставить в вестибюле“... Странно это все. Совпадения? чьянибудь неосторожность? ктонибудь проболтался?

На мою ясную зарю набегают тревожные тучки.

Рано утром приходит отец со свежими номерами газет.

Заседание Государственного Совета не состоится. Совет распускается до осени.

III

Туго натянутая струна даже не лопнула—она просто развернулась. Но, как опытный и вдохновенный артист, Медведь ни на мгновение не прерывает игры и сразу переводит смычок на другие струны.

Созывается срочное собрание боевиков в Мустамяках—дачной местности в Финляндии. События последнего времени ставят перед группой новые задания и выдвигают ряд организационных вопросов, начиная с перевыборов в Исполнительный Комитет.

Диктатура Медведя естественно кончается. Он снова в Комитете, но уже без прежних полномочий.

— Разгон Думы,—говорит Медведь,—и восстание во флоте создали атмосферу, в которой планомерная система террора может еще поднять ниспадающую волну. Мы должны рассеять террористические акты почти одновременно в

разных местах и возможно скорее. Если нам не довелось взорвать здание в центре, то искры подожгут его со всех концов.

Намечаются: Дурново, Каульбарс, Столыпин, Трепов, а если возможно, то, конечно, Николай. Исполнители на Дурново и Каульбарса уже есть.— Эти два дела проще всего. В какой форме будет покушение на Столыпина— установить еще нельзя—нужно кое что разузнать.

— А Трепов? А Петергоф?—раздаются голоса.

Предлагают немедленно выделить особую группу; некоторые из товарищей хотели бы вступить в нее.

Мне, привыкшей к академической строгости партийной конспирации, становится жутко при мысли, что вот сейчас громко и прямолинейно начнут обсуждать мою роль в Петергофе. Все построение соткано из самых тонких нитей, настоящая паутина: она может держаться неопределенно долго, но малейшее неосторожное движение, и архитектурная пряжа превратится в бесформенный комок пыли. Я знаю, какой ежесекундной выдержки требует конспирация, как трудно уметь молчать.

Словно в ответ на мои мысли, Медведь, немного помолчав, говорит:

— Товарищи, в Петергофе дело уже поставлено. Исключительные условия позволяют широкую информацию без специальной организации. Товарищ, давший нам ряд чрезвычайно важных сведений, возьмет не себя и покушение на Трепова, если только не представится возможность использовать Петергоф еще шире, быть может даже—до Николая...

Сижу под стогом сена между Медведем и Наташей. Меня здесь почти никто не знает. Теперь все становится ясно без слов.

— Не понадобится ли вам помощник?—спрашивает Медведь.— Присматривайгесь, кто кажется вам более подходящим.

— Никто. Каждое новое лицо в Петергофе только вызовет подозрения, слежку.

— А нельзя ли мне приехать к вам на час-другой с визитом? Хорошо бы увидеть все это на месте.

И Медведь, характерно моргая, устремляет детски умоляющий взгляд.

Смотрю на него и думаю—по одному этому подергиванию бровей его могут сразу узнать: ведь в Петергофе весь цвет охраны. Клепиков говорит, что первое время даже меня с отцом незаметно фотографировали.

— Вы сами знаете, Медведь, что вам туда нельзя. Что будет со всей вашей организацией, если вас возьмут?

И думаю про себя—останется туловище без головы. Но Медведь слишком скромен, чтобы угадать мою мысль. Он говорит просто: „Да, пока, действительно, многое распадется. За это время подготовки к Совету у меня поневоле сосредоточились в руках все нити. Скоро передам многое товарищам“.

— Лучше всего съездить туда Василию Дмитриевичу, он меньше вас бросится в глаза и быстро ориентируется.

Боевики совещаются отдельными группами. Медведь переходит от одной группы к другой, едва успевает отвечать на вопросы. „Божья гроза“...

Все они представляются мне сильным, живым организмом, одушевленным одной мыслью, одной волей. Впервые отдаю себе отчет в том, что нет у меня с ними той тесной идейной скрепы, которая объединяет их в одно целое. За эти недели течение далеко отнесло всю группу от той исходной точки, где еще переброшены были зыбкие мостки с одного берега на другой.

Провал Государственного Совета был тем толчком, который сразу кристаллизует насыщенный раствор и выявляет форму. Эта форма—максимализм. И соглашение с Боевой Организацией П. С.-Р. не состоялось потому, что не приехал Павел Иванович, и потому, что террор максималистов есть пропаганда максимализма.

В тисках конспирации, лишь изредка и мимолетно встречаясь с Медведем и Наташей, я оторвана от общей жизни группы. С максимализмом как теорией, как основой на-

рождающейся партии я мало знакома. Сегодня впервые мне ясно, что у всех, кто вернется отсюда к делу, в руках знамя максимализма, и все, что совершится, совершится во имя максимализма...

Со всех сторон обступают вопросы. Но некогда, некогда. Уже в поезде—надо успеть еще сегодня же, после тщательной „очистки“, добраться до Петергофа.

Железное кольцо сомкнулось.

* * *

Теперь нужно удвоить осторожность. И опять, как вначале—визиты, прогулки, безгрешные поездки в Петербург, откуда привожу детям Клепиковых книжки, конфеты, игрушки—приучаю „паучков“ к „пакетикам“. Они легко могут проверить содержимое—Кирсанов по вечерам пьет чай у Клепиковых и поедает мои подарки!

Со мною неразлучно браунинг. Не ведаю дня и часа, когда случай столкнет меня с Треповым. Впрочем, оставить оружие дома и нельзя—у меня ведь „нет тайн“.

Дни уходят, а Трепов не показывается. Говорят—болен. Клепиков посмеивается—„боится“.

История с Гоцом и последние события не прошли даром—здесь насторожились.

Сижу на музыке с заведующим дворцовой аптекой П. и его женой и обдумываю пути. Неужели прибегнуть к „максимальному“ плану Медведя—в крайнем случае въехать в дом Трепова на автомобиле, заряженном динамитом! Столько лишних жертв...

— Не хотите ли посмотреть на Кшесинскую?—спрашивает меня m-me П.—В конце июля спектакль в дворцовом театре—она танцует.

— Очень! А как получить билет? Вы пойдете?

— У нас так много расходов теперь—дети хворают... едва ли... Цены очень высокие—вся знать собирается—будет, конечно, и государь, и Трепов... Билеты? с большой проверкой—только через дворцовых служащих. Но муж вам, конечно, доставит.

Я часто бываю у П.—пригласить их в ложу будет лучшим ответом на их гостеприимство... Отца на этот день удалю из Петергофа—предлог придумаю—на его глазах?—нет, есть предел... А говорю:

— Очень вам благодарна—спрошу отца, может быть и он пойдет...

Клепиков посвящен в светский реванш, он охотно возьмет мне ложу—на имя П., чего же проще? „Да и вам, как художнице, следует взглянуть на наши спектакли—блеск-то какой!.. Выберу вам ложу с правой стороны—видно будет Папашу, а рядом—Трепова“.

Приглашение принято.

Обсуждаем с m-me П. туалеты... „Но ведь у вас такое прелестное платье—в черном шелковом всегда прилично... Да, летом, конечно, в светлом лучше“...

Еще бы! Черное шелковое—классический мундир террористок.

* * *

У Василия Дмитриевича „гости“.

Тихие и скромные Василий Дмитриевич и Надя живут в роскошной обстановке. Пышно и холодно—не то, что в Поварском. Можно подумать, что молодая жена выдана за богатого да немилото—молчаливая, тоскует. Они словно чужие и друг другу, и обстановке, и самим себе.

— Да, это проще и скорее,—говорит Медведь на мой план.—К тому же автомобиль понадобится—здесь кое что намечается.

Рассказываю, что вчера ехала в поезде со Столыпиным—„может быть следовало?..“ — „Нет. Столыпина вы пока не трогайте. Кстати, нельзя ли разузнать через вашего отца дни и часы приемов на Аптекарском острове, как туда пройти“.— „Хорошо, узнаю—это ему легко“.

Около часу ночи. Лакей разносит чай, закуски Я играю Бетховена. Надя „занимает“ Наташу—сидят в уголке под филодендромом. Медведь играет с Василием Дмитриевичем в шахматы.

Резкий звонок...

Я продолжаю играть. Хозяйка занимает гостью. Гость говорит: „Шах королеве—теперь защищайтесь“.

Лакей докладывает: „шоффер — прикажете обождать гостей?“

— Пусть подождет — небрежно бросает хозяин дома, не отрываясь от шахматной доски...

* * *

Клепикова приносит утренний кофе и газету. „Говорят, в Одессе опять покушение—может почитаете?“

Читаю вслух: „дама в черном шелковом платье—истерика в кабинете у Каульбарса — не может стрелять — друг отца — оказал ей столько доверия и дружбы — дочь генерала, Тамара Принц“...

Клепикова молчит. Потом не столько обращаясь ко мне, сколько думая вслух: „Да—так вот как—значит теперь и генеральским дочерям верить нельзя“.

Наши мысли встречаются и видят друг друга. Проходит секунда — жуткая — или вечность — как во сне...

— Да, — говорю, — теперь трудно знать — уже не первый случай.

Мысли постояли и разошлись. Клепикова, может быть, вспомнит—теперь уже скоро —эту минуту, когда не расслышала своей собственной мысли. Разговор понемногу переходит на трудности жизни — дети растут...

Вечером Клепиков приносит „генеральской дочери“ билет в театр.

* * *

На завтра еду заказывать платье и известить Медведя о получении билета. В купэ I класса несколько пассажиров. Генерал с газетой в руках продолжает с дамой начатый без меня разговор.

— Нет, привыкаешь к этому, как на войне к пулям. Мы нигде не в безопасности—любой сосед в вагоне может на-

править дуло — я одно время получал даже письма от них с угрозами и предупреждениями.

Стараюсь запомнить лицо генерала, получавшего от „них“ предупреждения.

Но опускается какой-то осадок в душе.

Не в казни, не в пытках, а в этом, в обмане, в „маске“ — „положить душу свою за други своя“.

Но есть предел, которого нельзя переступить, не отнимая тем самым значения акта, не превращая сознательный подвиг в жест сильного фанатика. Великий князь Сергей не имел, как личность, крупного исторического значения, механическое его устранение не играло в истории никакой роли. Однако, дело Каляева — историческое событие. Только скрытая в нем исключительная моральная сила своей силой всколыхнула инертную массу.

Тамара Принц не фанатик и в своем разбеге разбилась о грань той Правды, во имя которой мы ведь и поднимаем меч.

* * *

В Поварском мне что-то не понравилось. Может быть случайный прохожий посмотрел пристальнее, чем следовало, может быть швейцар не так стремительно распахнул дверь... У нас вырабатывается особое „верхнее чутье“ — как у охотничьих собак!

Наташа и Медведь тоже не уверены в том, что все благополучно. „Вам лучше совсем не показываться в Поварском — еще заразите Петергоф... У Василия Дмитриевича тоже не следует“...

— Завтра отец переезжает на время в Петербург по делам службы — у него можем встречаться, пока не найдется безопасной квартиры.

Медведь удручен неудачей с Каульбарсом — и такой неудачей. Промах — дело другое, но не овладеть собой... Еще один провал — на юге взяли всех... И здесь — трения с товарищами: во имя конспирации невозможен отчет в каждом шаге, огласка каждого имени, а они подозревают в

стремлении к диктатуре, упрекают в нарушении основ организации...

Я хотела бы поговорить с Медведем о нем, о себе, но его срочно вызывают.

Впрочем—не стоит говорить. Я ведь не против максимализма, я просто не за максимализм. Пусть мое дело будет их делом, а до суда и речей не дойдет—у меня есть капсуля с синильной кислотой. Лишь бы дело было сделано—во имя конечной цели, где сходятся многие пути.

— Кстати—чуть не забыл. Эс-эры просили передать вам, что приехала из Москвы Елена З. и хочет увидаться. Вот адрес—там чисто.

* * *

И снова „я вижу печальные очи и слышу веселую речь“. От серых глаз из-под темных изогнутых бровей Елены на меня веет далеким прошлым—Мюнхен, Париж, искусство...

Жаль? Нет. Хорошо, что оно было. Хорошо, что напутствует меня у порога:

— А это вам от Андрея Николаевича „родительское благословение“.—Елена подает мне большой портрет Веры Фигнер.

— Простил „изменницу“?

— Да, узнал, на что идете—сердце не камень! А завтра в Летнем саду вас будет ждать Нина—бежала.

Нина—стальной клинок и неугасимая лампада, моя „весна“ и „первая любовь“ на революционном пути.

Как все хорошо. Но откуда же они знают о Петергофе, о моей роли? Я никому не говорила, ни с кем не видалась из прежних.

— В Москве все знают, даже в Бутырках ваша оппозиция перестукивается—„Юрьева в Петергофе, Юрьева при дворе“... И здесь наши в Ц. К. знают.

— А что оппозиция? Военный союз?

— Провалы, неряшливость, разложение. Многие вернулись в партию... Вы не максималистка?

— Нет.

— А знаете — наши очень жалеют о вашем уходе. Вы бы не перешли теперь в нашу Б. О.? Они охотно примут — вчера была речь о вас...

Я молчу. Елена пытливо смотрит: „Подумайте“. Крепко жмет руку, быстро исчезает.

* * *

Отлучки из Петергофа вполне естественны — отец эти дни живет в Петербурге.

Иду вдоль Невы по тенистой аллее. Навстречу со скамьи поднимается легкая фигурка — бледное лицо с горящими глазами, энергичный маленький рот, выдающийся подбородок: напоминает профиль Наполеона.

— Нина! — и мы крепко обнимаемся.

Единственный человек, способный вмиг заставить меня выпрыгнуть из конспирации.

Осматриваемся кругом — нет никого, смеемся. „Собственно говоря, не мешало бы начать с этого!!!“

Выбираем уединенный уголок и беседуем долго, откровенно. Ей я могу сказать все.

Отдельные точки, рассеянные на протяжении недель, буквы, зарытые в подсознательных пластах души, выступают и соединяются в четкую мысль.

Поднять их знамя я не могу. Покинуть их в эту трудную для них минуту тоже не могу.

— Это необходимо. На что же вы опираетесь?

— На себя. На конечную цель. На радость жертвы. „На ненависть правую“.

— А потом? после?

— Капсюля.

— Вы не в праве. Весь смысл террористического акта не в „я“, а в „мы“. Сочувствия мало, нужен символ веры. Вы разошлись с партией на частных организационных вопросах, но это не коснулось вашей идеологии. Капсюля не меняет дела — вы остаетесь пассивным орудием максимализма, который в теоретической обосновке не выявился в цельное мирозерцание, в организации держится только

силой нескольких отдельных личностей—в сущности только Медведя—и революционным настроением группы. Но революционный пыл остывает—что тогда? Посмотрите, во что обратилась московская оппозиция.

Я знаю—я все это знаю—с Мустамяк.

Да, так — нельзя.

Вечереет.

— Где вы ночуете, Нина?

Нина смеется.— „Сегодня нигде, но это не важно, погода хорошая. Завтра обещали паспорт“.

Все прежняя! „С поезда на массовку, а вещи на вокзале“.

— Идем к отцу. Безопасно и вам и мне. В отеле я ему не дочь — „веселый генерал“...

* * *

Утром приезжаю из Петергофа и застаю Нину и отца за трудным делом—пытаются выкрасить ее черные волосы в рыжий цвет, мокают конец косы в чашку—ничего не выходит.

— Ну, не стоит, бросим. Лучше переменить прическу—вуаль—подпудриться—совсем модная дама...

На столе остатки пирожных, конфет, вино, икра—горничная „понимает“, она никому не скажет—еще бы!

Отец давно знает Нину по моим рассказам, он „ничуть не устал — отлично выспался“. Где? Да там, в уголке—за ширмой — (Диванчик изогнут под прямым углом!).

— Заставил меня улечься в постель, — я даже не протестовала, заснула как убитая.

Нина уходит с отцом. „Если кто придет, пусть обождут—я скоро вернусь“, говорит он горничной, опуская ей монету в руку. „А барышня здесь посидит, подайте ей чаю, пирожных“.

Я жду Медведя.

* * *

— Да, да, я это чувствовал последнее время — не знаю, как это вышло, что мы вам не сообщили о собрании, когда

принят был лозунг... Столько дел, такой водоворот событий... Нет, мне самому следовало поговорить с вами, спросить. — Нет, нет, вы ничем не связаны, вы совершенно свободны. Да в сущности, весь Петергоф всецело ваш—мы вам и не помогали — наоборот, так много сведений от вас — и Государственный Совет.

Ни тени упрека... Благородный, великодушный Медведь.

Трап еще не поднят, пароход разводит пары.

Тяжелым свинцом падают в душу эти прощальные минуты.

До выступления всего пять дней. Сегодня Нина сообщит Елене—надо поскорей оформить.

Возвращается отец, „да это „серенький“ из Совета!— голубчик, я помню вас — что ж ты мне не сказала, кто придет?!“

Мы засиделись—Медведь открыт! Это ничего. Отец привык не спрашивать—он довольствуется именем „серенький“.

* * *

Еще один день.

У генерала визиты. Елена, Нина и Медведь. Меня официально передают в Партию. Просто и быстро.

Я говорю: „Ну, надеюсь, недоразумений не будет и в мой труп не вонзятся сразу два знамени?!“

Мы смеемся — трап поднят.

Душа рыдает.

Завтра Елена сообщит мне час и место явки.

Сдаю Медведю браунинг. Завтра встретимся здесь же.

* * *

В назначенный час Медведя нет.

В пятом часу еду с отцом по Николаевскому мосту. Навстречу быстро идет перекрашенный в темное Медведь. Делает знак — останавливаю извозчика, подхожу.

— Поварской открыт. Дом оцеплен шпиками. Я больше не вернусь. Дайте знать Наташе — пусть бежит сегодня же. Вот адрес. С вами встретимся у Василия Дмитриевича.

В отеле объясняю отцу, как найти Наташу. „Если швейцар спросит, к кому, скажи — к Кравченко, художник на той же площадке. Позвонишь налево — спросишь барыню, ей скажешь, что ты мой отец. Впрочем — она знает тебя — помнишь, брюнетка в Совете? А главное — потом, следи, не возвращайся прямо домой“.

Отец надевает на мундир штатское пальто, в бумаге — форменная фуражка, на голове мягкая шляпа.

Проползает два томительных часа.

Все сделано. Служанка оказалась сочувствующей, сама предупредила, что ночью хотят барина арестовать. Они наскоро укладывают необходимое — вечером Маша поможет ускользнуть черным ходом.

— А тебя — не прицепились?

— Один какой-то следил — по пятам. Я вошел, наконец в церковь — там снял пальто и в фуражке прошел мимо него — а он привставал на цыпочки, искал в толпе...

* * *

Считаю дни с конца — как дети перед праздником. Два дня.

Отец со мной у Василия Дмитриевича. Дает Медведю подробные сведения о Столыпинской даче.

— Смотрите же, голубчик, не опоздайте. Ровно в два часа закрывается дверь. Всякое опоздание вызовет лишние переговоры.

Отец и Медведь долго дружески беседуют. Слышу: „но как же, голубчик, социализировать фабрики, когда...“

— „Я понимаю,—говорит мне Медведь—вы не можете с нами. Но — подарите нам вашего отца!“ ... и Медведь опять по-детски простодушно смотрит умоляющими глазами. — „Он так много может дать... мы его будем беречь... и мне самому полезно поговорить с ним — у него широкий, трезвый взгляд на вещи — в работе мы поневоле суживаемся, упускаем из виду целый ряд практических соображений“.

— Я устроила так, что он завтра с утра уезжает в Финляндию на неделю.

— Да, знаю — спектакль. Но потом? Позвольте видетсья с ним — пусть он отложит отъезд домой, если почему либо спектакль отменят...

Опять свинцовые капли падают в душу. Нет — не могу. Это грань.

Василий Дмитриевич смотрит на меня добрым, грустным взглядом. „Жаль мне вас...“ Я чувствую, что за этим что-то кроется другое, чем дружеское расставание, чем предстоящее мне выступление — да на это и не бывает жаль.

Я стараюсь понять, как стараешься вспомнить виденный сон, но он тает.

Мы прощаемся.

* * *

На Финляндском вокзале.

— Ктонибудь из твоих будет в театре?

— Может быть, папа. Для изучения.

— Но ничего не произойдет? Я могу быть спокоен за тебя?

— Вполне. Ты дыши соснами — я тоже приеду — на днях сдаю все дела, — потом вместе уедем домой.

Я уж не знаю, кто это говорит за меня. Хоть бы скорей!..

IV

С вокзала на явку.

Как-то примут меня эс-эры... Я ожидаю увидеть самого Ивана Николаевича. Застаю Андрея Юльевича Фейта — не боевик, член Ц. К.

Андрей Юльевич встречает меня ласковым: „Блудная дочь!..“ — „Вернулась“ — „Тем дороже“.

Присутствует Елена — бледная, строгая в своей взволнованности. Андрей Юльевич задает ряд вопросов о Петергофе вообще, о театре в частности. Да, все обставлено безукоризненно. — „Вы хорошо стреляете?“ — „На расстоянии шести-семи шагов — да. Из ложи в ложу можно только снарядом,

но есть два антракта. Я сойду—ложе Трепова в партере — П. обещал показать вблизи интересную публику“.

— Вы готовы ко всему? вы ручаетесь за себя до конца? вы знаете, что партия не допускает самоубийства?

Елена записывает общие биографические данные, работу в партии. Нам всем неловко.

— Иван Николаевич не мог быть здесь сегодня, он просил напутствовать вас заочно.— Андрей Юльевич вручает мне браунинг.

„Наследный меч!..“

Елена провожает в переднюю.

— Елена, я иду на все, до конца, но только не на... я не Спиридонова. Этого не хочу и не должна пережить. Пусть простят, если...

Елена опускает глаза:

— Победителя не судят.

— И еще, — Елена, папу не оставьте, не допустите вернуться из Финляндии, пока здесь не уляжется...

* * *

Остается купить несколько мелочей, конфеты и захватить платье. Оно будет готово только к 7-ми.

Передо мной три пустых часа.

Погода сырая, хмурая. Иду по набережной. Мутные хлопья туч ползут над медным ангелом. Низкое небо вдавило крепость в землю.

Я тщетно борюсь с давящим небом, с сырыми подземными ощущениями, они наползают — бесформенные и скользкие...

Все последнее время пронеслось в неослабном напряжении, непрерывная цепь дел, событий, переживаний — это были не дни, а часы и минуты, эквилибристика и маска.

Теперь никуда. Пустота. И в нее вливается мое я.

Я одна лицом к лицу с собой. Я — просто я.

Завтра Юрьева убьет Трепова, а я убью человека.

Гефсиманская минута. Уже не борюсь — надо опуститься до самого дна, чтобы было от чего оттолкнуться.

В горизонтальном разрезе — народы, государства, сословия, классы — тут все легко отделяется, как песок от глины, глина от чернозема. И все просто. Член партии С.-Р. в праве убить палача Трепова.

Но есть еще вертикальный разрез. Он пронизывает все пласты, все времена и народы, все сословия и классы.

Точка пересечения — крест. Жертва и искупление.

Рукоятка нашего меча — крест.

Пусть разит.

Я оттолкнулась. Теперь только большая физическая усталость и холодно — с моря дует сырой ветер, моросит.

Беру извозчика, еду в кафэ на Михайловской, пью горячее крепкое кофе, обедаю — нужно хорошо поесть, быть сильной. Захожу в мастерскую за платьем.

— Прелестно! — говорит закройщица. — Вы увидите, что это за материал — без износу. Потом перекрасите.

Мне смешно и весело, подхватывает задор.

„Наследный меч“ со мною — теперь в Петергоф!

* *
* *

Спать ложусь рано — надо выспаться, надо владеть всем механизмом. Клепикова хотела бы взглянуть на платье. — „Завтра, Анна Васильевна, я лягу теперь, устала, а то цвет лица будет завтра нехороший...“ — „Ах, правда, высыпайтесь-ка, я и будить вас не стану“.

* *
* *

Начинаю просыпаться от каких-то звуков — музыка — похоронный марш: „Вы жертвою пали“, он же: „Не бил барабан“. Кто-то говорит: генерала хоронят. И — меня? Значит я его уже... и слушаю — оттуда?..

Окончательно просыпаюсь.

Клепикова смотрит в окно. Говорит: „генерала хоронят“. Подхожу и тоже смотрю. Но теперь это мне все равно. Лишь бы удалось.

Заказываю к вечеру веер — цветы на пальмовом листе это поможет скрыть движение. Захожу к П. условиться —

они заедут за мной в карете. Приглашаю в ложу знакомого гардемарина—пусть занимает m-me П., она полная и ленивая пожалуй предпочтет сидеть в антрактах в ложе, неловко будет оставить одну.

Клепиков не отходит—любуется платьем, помогает одеваться. „Пояс немного свободен, можно булавочкой“...

Клепикова уйдет, тогда будет впору и без булавочки—браунинг. Очень кстати эти моды.

Клепиков в полном параде.—„У, какой же вы блестящий—гетры, золотое шитье“...—„А как же? ведь „папаша“ будет“.

Подъезжает карета. Клепиков неожиданно для меня вскакивает на козлы, помогает сойти у театра. Много военных. На меня обратили внимание, слышу: „кто это?“ — „Должно быть новая фрейлина“.

Жаль. Это из-за придворного лакея на козлах. Перестарался в своем неведении. Но изменить ничего не могу. Он ведет в ложу. Останется в ложе у двери.

Первое действие. Танцует Клео де Мерод. Я слежу с интересом. Царская ложа—и Трепова рядом—пустые, приезжают обыкновенно после первого антракта.

Первый антракт. M-me П. предпочитает остаться в ложе. И я. Их нет—все равно, не надо лишать себя прогулки во втором антракте.

В ложе у нас в меру весело. Едим конфеты, сплетничаем, шутим. „И государыня будет?“ — „Нет, что вы—Кшесинская“... — „Ах, значит это высочайшая *garçonnière*?!“ Смеются.

Бедные, что с ними будет! А Клепиков—жаль его!

Думаю это, но не чувствую. Просто констатирую.

Поднимается занавес. Выходит Кшесинская в costume боярыни. Оркестр играет русскую. Направляю бинокль на сцену, а из-за бинокля слежу за ложей. Пустая.

Чаще всего после первого антракта.—Еще будет.

Закрадывается тревога—будет ли?

Какая-то секунда—перелом—невидимое коромысло качнулось, опускается, медленно, бесповоротно.

Я наверное знаю, что уже не будет.

Мне становится скучно, гадко от этих глупых плясок на сцене, от гладких затылков в партере, от бессмысленной болтовни в ложе.

Оркестр доигрывает последние такты, я доигрываю свою роль.

Клепиковы огорчены, разочарованы—напрасно вынимали „паратный“ мундир из нафталина.

— А почему же государь не был? Болен? — Клепиков таинственно: „разные слухи—говорят готовилось покушение—предупредили“.

* * *

— Все ваши максималисты,—говорит Андрей Юльевич,—слухи накануне взрыва Совета, слухи накануне спектакля... И Каульбарс, и Дурново — всюду неряшливость, недоделанность...

— Что Дурново?

— Вы разве не знаете? Таня Леонтьева в Швейцарии стреляла в какого то обывателя, приняв его за Дурново.

Что-то мешает мне согласиться с ним. Вместо ответа я говорю о неотложности установить дальнейший план действий в Петергофе—после отъезда отца мое положение будет нелепое и возбудит подозрения. Елена предлагает поселиться со мной—подруга-художница приедет погостить, по связям, родственникам экзамен у „паучков“ выдержит. Это спасет положение, лишь бы не затягивать, каждый день дорог.

Но Андрей Юльевич ничего не может решить, необходимо свидание с Иваном Николаевичем. Дней через 5—6.

* * *

В Петербурге грандиозное покушение на Столыпина: на автомобиле вишневого цвета подъехали молодые люди и две дамы к даче на Аптекарском острове—немного опоздали на прием, их не хотели впустить—они прорвались, бросили бомбу. Взорвана часть здания, много жертв. Столыпин уцелел. О событии узнали прежде всего в Петропавловской больнице: случайно раненый осколком офицер просил перевязать

ему руку и послать помощь жертвам взрыва. Автомобиль с сидевшими в нем дамами скрылся.

На следующий день на Петергофском вокзале неизвестная дама выстрелом из револьвера убивает Мина. Дама арестована. Покушение совершено от партии с.-р.

* * *

Жив ли Медведь?

Иду по условленному адресу. Там получаю следующий. От адреса к адресу—как шлюзы. Застаю трех максималистов—в их числе Медведь.

Как он изменился. Не тем, что бритый. Он—другой. Не световой зайчик, а молнии между бровями. Он окутан насыщенной тучей воли—выкованный тяжким молотом булат.

Молча вопросительно смотрим друг на друга.

Медведь угадывает мою мысль и вспыхивает.

— А я вполне удовлетворен. Эти „человеческие жизни?“. Свора охранников, их стоило перестрелять каждого в отдельности. Столыпин — да, но дело не в устранении, а в устрашении, они должны знать, что на них идет сила. Сила только с силой считается. Важен размах. Вся эта филигранная отделка единоличных покушений отжила — каменную глыбу взрывают динамитом, а не расстреливают из револьвера.

Я не спорю. У Медведя своя правда, он прав силой веры в свою правду. Такая вера сдвигает горы. И если его динамит оставит на глыбе только легкую царапину, то вера его и воля сохранится в мире как действенная сила и толкнет колесо истории.

— Товарищей жаль,—говорит Медведь и хмурится.

— А Надя, Наташа, Василий Дмитриевич?

— Целы.

— А вы как ускользнули?

Медведь улыбается.

— А вы не догадались, кто был офицер на перевязке? А что вам помешало?

Рассказываю. Говорю про слухи и предупреждение, напоминаю о слухах про Совет.

Медведь задумывается.

— У нас много небрежности, неосторожности в периферии — да, но у нас здоровое чутье — оно нас не обманывает: в Партии не все благополучно... Я жалею, что несмотря на разрыв мы продолжали с Партией личные сношения, делились планами. Этого больше не будет. И, жалею, что вы у них — они не используют ваших сил, вашего исключительного положения... В них нет революционного темпа — вся ваша работа пропадет даром.

— Воспользуйтесь вы — у вас много данных, я могу сообщать вам еще; автомобиль дает вам возможность обойтись без меня. Теперь Николай на маневрах, но скоро вернется — воскресные завтраки во дворце Екатерины возобновятся. План Петергофа у вас есть, — въехать по пути из Ораниенбаума в ворота под столовой легко — задержать не успеют.

Медведь поникает: „У нас мало людей, иссякают средства. — На очереди другое.

— Повторение Кредитного?

Медведь утвердительно кивает головой.

— Не делайте этого, Медведь. Вы правы, что Партия нуждается в организационном обновлении, что централизация в ущерб контролю и энергии. Но и у вас не так благополучно, как вам кажется. „Небрежность“ и „неосторожность“ — это непрочищенное дуло, ваше оружие обращается против вас самих. Запоздание на $\frac{1}{4}$ часа — оно исказило все ваше дело. Лес остался на месте, разлетелись одни щепки. И с вашей децентрализацией вы понемногу идете на уступки и утрачиваете цельность и чистоту первоначальных заданий. Только стройное мирозерцание, только идейная основа спасает от разложения и не дает террору обратиться в убийство, экспроприации в грабеж. А много ли у вас людей сознательных и стойких до конца!

— А много ли их в Партии?

— Нет, конечно. Но Партия ограждена выработанной идеологией, строгой дисциплиной и — всетаки централизацией.

Мы не спорим, не убеждаем друг друга, не соглашаемся друг с другом. Каждый высказывает свое и остается при своем. Но неуловимые искры западают в душу — когданибудь они вспыхнут и осветят то, в чем каждый из нас был прав или неправ.

— А что сказал ваш отец?

— То же, что и я. И сокрушался: „ну как же опоздать! ведь я особенно прдчеркивал — ровно в два часа“...

На лице Медведя мелькает прежнее робкое, детски простодушное.

— Он считает неудачей? возмущен?

— Не возмущен, но огорчен. Он очень любит вас.

— Да, да, я это чувствовал. Он мне тоже близок...

— ... Помните, Медведь, если что понадобится, все что смогу — как „частное лицо“.

— ... Смотрите же, мы всегда поможем вам, если они затянут дело — а я это предвижу — оружие, снаряд...

Устанавливаем „вечный“ адрес, пароль. Прощаемся — до крайнего, срочного свидания.

Оно еще будет — мы оба верим, что будет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

„Но вплетенных в вихрь случайный
Строго гонит ворот тайный,
Им невидимый рычаг...“

Ю. Балтрушайтис.

I

Едем с Еленой в Териокки—Иван Николаевич назначил нам свидание. Поезд переполнен дачной публикой. Не доезжая Белоострова через вагон проходят человек десять пассажиров. Кто-то высокий, громоздкий, с виду богатый комивояжер, скашивает на нас глаза и проходит дальше.

Елена тихонько: „видели?“—Кого?—„Его... сам... какая смелость!“ Который? Перебираю в уме всех проходивших—нет, не заметила, никто из них не мог быть таинственным „капитаном Нето“. Расспрашивать Елену неудобно, у нас соседи.

* * *

На даче, где назначена явка, Ивана Николаевича сегодня нет и не ждут. Советуют съездить в Тюрзево, а если и там не окажется, придется переночевать здесь, завтра утром будет наверное.

Выходим в поле—из за плетня показываются двое навстречу. Василий Дмитриевич! Его спутник и Елена отходят в сторону, мы перекидываемся несколькими словами. „Что у вас?.. Медведь?“—„Медведь уехал на время из Петер-

бурга. А вы? чтонибудь предпринято? — „Нет еще, все не удавалось увидеть Ивана Николаевича. Вот еду к нему“. Василий Дмитриевич качает головой. „Эх, погубят они вас“...

Прощаемся. Вижу его добрые глаза и длинную „обреченную“ шею и ясно чувствую, что в последний раз.

Вечереет. С балкона дачи Ивана Николаевича шаловливо выпархивает рой каких то дам в очень легких капотах, магинэ. У них неприятный, жеманный тон. „Нет, еще не приезжал... завтра утром в Териокках“. — Щебечут, лепечут, игриво спускаются к морю.

Мне не по себе. Елена угадывает: „что делать! конспирация!“

* * *

Около 11-ти утра Елена вызывает меня к Ивану Николаевичу. „Желаю успеха—нам обеим“.

Поднимаюсь по скрипучим ступеням крутой лестницы в мезонин. Обычная для финских дач дощатая комната с двухскатным потолком, очень тесная. За простым столом сидит несоразмерно большой, громоздкий человек. Я скорее угадываю в нем, чем вижу высокого пассажира под Белоостровом. Неожидано, необъяснимо что-то во мне сжалось, потухло.

Иван Николаевич встает, сухо здоровается, указывает мне на стул сбоку и садится на прежнее место.

— Расскажите, почему вышла неудача в театре, какие у вас дальнейшие планы...

Я вкратце, но обстоятельно говорю о своем положении в Петергофе, о слухах накануне спектакля, удержавших Трепова дома под предлогом болезни, о широких возможностях использовать исключительно благоприятные условия. „Теперь, после Мина и Столыпина, с отъездом отца обстоятельства, конечно, изменились: оставаться одной неудобно—хорошо бы поселить там Елену, она вполне чистая, легальная, со связями в обществе, умеет держаться в этой среде. А главное—действовать быстро. Пропущено много времени—каждый день дорог“.

Иван Николаевич слушает не перебивая, сложив руки на животе. У него короткая, толстая шея, туловище прямо переходит в голову. Он смотрит прямо перед собой, изредка, не поворачивая головы, бросает искоса быстрый, пыливый взгляд. Мне вдруг вспоминается гравюра Саши Шнейдера — студенистая масса, чудовище, распространяющее две громадные лапы, в их окружении стоит скованный человек. Те же рыбы глаза, развёрнутые липкие губы, низкий скошенный лоб...

— Да, но что же именно вы предлагаете нам теперь?

„Великий“ Иван Николаевич подавляет своим величием. Он говорит не как равный с равным, не как старший товарищ с младшим, а как строгий экзаменатор. Весь мой „конус, выросший из точки“ нисколько его не удовлетворяет, он как будто не замечает его.

Рассказываю подробнее об окружающей обстановке, о лицах, которых встречаю почти ежедневно — Рима, Орлов, наконец Николай — он на-днях вернется из Красного Села с маневров, опять будет кататься на дачу Ольденбургской.

— О Николае не может быть и речи, Партия постановила его не трогать.

— Хорошо. Но ведь и без него Петергоф полон...

— Так разбрасываться нельзя. Вы наметили Трепова и для вас никто больше не существует. Есть у вас ясный, выработанный план? Вы мне приводите все общие данные. Этого мало. Нам нужно конкретное предложение — только тогда мы можем помогать вам.

Я вспыхиваю.

— Иван Николаевич, здесь я только разведчик и исполнитель. Вы организатор, и вам, а не мне, решать, как использовать имеющийся у меня материал. Мой конкретный план — театр — провалился не по моей вине. И не по моей вине пропадает с тех пор уже третья неделя, потому что без вас ничего нельзя, а вас увидеть тоже нельзя!

Иван Николаевич искоса бросает на меня быстрый взгляд — будто выпускает невидимые щупальцы и ловит невидимые мысли. Он вдруг смягчается.

— Что-ж, я ничего не имею против, пусть Елена едет к вам. Только помните — на вас возложено вполне определенное поручение — Трепов. Оставайтесь в Петергофе, сообразите на месте, что и как можно сделать и снесите со мной. Явку мою всегда узнаете у Андрея Юльевича.

Аудиенция кончена.

Елена с замиранием ждет у лестницы, в ее глазах напряженный вопрос.

— Согласился! Собирайтесь в Петергоф.

* * *

Мы радостно возбуждены. Идем гулять в лес. С нами браунинг.

— Давайте поупражняемся!

Пишем на бумажке „Трепов“, накалываем в виде мишени на сучок и стреляем.

Где-то за лесом ревет корова. Что если мы ее подстрелили?

Убегаем как напроказившие дети.

Вечером счастливые, возбужденные садимся в поезд и весело катим...

— У вас билеты в Петербург?—говорит кондуктор.

— Ну да...?

— А поезд идет в Выборг.

Мы сходим на полустанке, нанимаем „вейку“ и едем в Мустамяки, где перехватим встречный поезд.

Дорога идет лесом. Гладкое шоссе, быстрая финская лошаденка. Все становится вдруг сказочным. Темно, тихо. И в нас наступает тишина. Мысль уже не катится вперед, а сосредоточенно опускается в глубину.

Вспоминаю стрельбу в записочку с именем Трепова. Теперь мне это кажется мелкой, недостойной выходкой.

Словно в ответ на мою мысль Елена говорит:

— Кира, вы еще не рассказали мне, как было в театре. Ничуть не страшно?

— Ничуть. В минуты действия душа будто глухой фонарь — свет направляется только на то, что нужно видеть. Это даже и не храбрость, и не радость жертвы — это без „до“ и „после“.

— А на набережной? „Гефсиманская минута“? Разве вы не шли на это, не обдумали давно? Как же в таком случае ручаться за себя до конца?

— И обдумала, и шла. Но мы еще не умеем думать и хотеть всей силой мысли и воли. Если бы мы всегда умели так думать и хотеть, как в редкие минуты предстоящего — понимаете, предстоящего — тогда, мне кажется, наша мысль была бы прозрением, а воля равносильна факту. И если хватит силы преодолеть такую — „гефсиманскую“ — минуту, тогда и факт, и *post-factum* внутренне уже не важны, остается удача или неудача.

Молчим. Потом Елена говорит печально:

— А мне всетаки жаль, что вы идете на это. У вас столько данных — музыка, живопись... Ведь искусство так же важно, как революция...

— Если так рассуждать, то и вам, Елена, не здесь место. Притом в вас столько радости, творчества жизни...

— Я дело другое... Я не могу иначе...

Мне чудится в ее словах какая-то загадка — интимная, трагическая. Хотелось бы дать ей цветы и полный кубок жизни, а я подаю тернии и жертвенную чашу. Зачем это так в жизни — зачем нужно страдание, отречение, зачем мы сами, добровольно, идем на это, и топчем цветы, и не хотим, не можем иначе?

Мы едем по опушке. Густой туман клубится по земле, ползет по кустарнику, цепляется за ветви. Восходит красная уродливая луна. Клубы тумана словно чудовищные змеи свиваются и развиваются в мутных лучах, а над ними чернеют одинокие сосны.

Колышатся и переливаются неясные мысли, смутные чувства. Мы в жутком мареве среди фантастических переливов луны в седых клубящихся парах.

II.

На вокзале Н.-Петергофа блеск и оживление. Подходит поезд за поездом — из Красного Села возвращается государь и весь двор.

В окне вагона I класса появляется изящная головка Елены. Улыбается мне. Седой генерал любезно снимает с сетки ее дорожный несессер.

— Что это у вас здесь за торжество? — спрашивает Елена, при виде почетного караула.

— Вас встречают! — смеюсь ей в ответ. — Идем отсюда поскорее — подходит царский поезд.

* * *

У Елены две комнаты с балконом на главную улицу. На несколько дней переселяюсь к ней в отель, вместе удобнее, „подруга-художница, хотим порисовать, поиграть, кстати есть и пианино — давно не видались!..“

Соседние комнаты, как и весь отель, заняты офицерами, приехавшими с маневров — они менее стеснительны, чем „паучки“ за стеной у Клепиковых.

У нас краски, складные мольберты. Рисовать в парке запрещено, нужно особое разрешение от Трепова. Тем лучше: если гора не идет к Магомету, то Магометы направятся к ней сами. Но надо раньше, чтобы здесь привыкли к Елене.

* * *

Ставим *nature morte*, работаем и следим за проезжающими.

— Опять едут, — говорит Елена. И вкрадливо: — может быть, вы взглянете, кто?

Мне так жаль отрываться от моей бегонии.

— Вам ближе, Елена, — говорю лицемерно.

— Ах — если вам не трудно — у меня так удачно, ложится тень...

Ага! и она!..

Стук колес ближе. Обе бросаем кисти и устремляемся к окну: Трепов с царем. И так все последнее время. Знает, конечно, о постановлении Партии не трогать царя и избрал себе самую надежную охрану.

* * *

У нас с визитом родственник Елены, знаменитый художник. Аристократ и монархист. Мы пригласили его „для декорации“, однако разговор волнует давно выключенным из жизни, но не изъятым из души искусством.

— Приезжайте ко мне в студию, ибсеновские дамы, — шутит он на прощанье, — покажу вам последние работы, они совсем в новом духе.

* * *

Эти качания внутренних переживаний между самыми тонкими художественными восприятиями и самой грубой, варварски первобытной, атмосферой убийства, между органической потребностью творчества и необходимостью разрушения, быть может, самый тяжкий для нас крест. Однако он же дает силу нести его: есть что отдать, есть от чего отказаться.

С Еленой мне, пожалуй, труднее, чем было одной: она мой резонатор, и я постоянно слышу себя художницу в ней. Мы никогда еще не были с ней так близки: эта общность переживаний делает нас одинокими не только в стане врагов, но часто и в лагере друзей.

Сравниваю Елену с Наташей. Елена тоньше, культурнее, сложнее, зато в Наташе есть свежая сырая сила, есть цельность и безоглядность на революционные пути, в ее натуре заложены возможности будущих ярких расцветов.

Мы обе с Еленой — цветы утонченной культуры. Мы расчистим путь, но не пробьем брешь. Такие люди, как мы, могут поднять, углубить, но не сдвинуть, они сами никогда не выйдут из своей эпохи. В этом, мне кажется, и кроется непримиримость Партии и максималистов.

* * *

Катаемся в парке. Лихач на всем скаку врезывается в ряды экипажей, которые останавливаются у дворца Екатерины. Кучер сдерживает лошадь, к нам подбегают дежурные офицеры помочь сойти. Минута обоюдного недоумения и замешательства.

Догадываюсь: во дворце парадный завтрак, нас приняли за приглашенных... Недоразумение быстро выясняется, офицеры вежливо извиняются, отдают честь, мы едем дальше.

— Вот видите, как здесь просто, — говорю Елене, когда, отпустив извозчика, мы прогуливаемся вдоль фонтанов. — Нужно только иметь при себе оружие и снаряд, а остальное предоставить импровизации и случаю. Иван Николаевич слишком фиксирует; для Петергофа это не годится.

А, впрочем, — есть и „конкретный план“: через два дня парад. Разъезжаться будут мимо нашего отеля. Трепов по этикету поедет отдельно от Николая. Между 11 и 12 утра. Завтра же надо увидеть Ивана Николаевича и застаться снарядом — о браунинге при быстроте езды не может быть и речи.

* * *

На следующее утро едем в Петербург, узнаем явку Андрея Юльевича, направляемся к нему.

Улица нам не нравится: на углах наглые физиономии вдоль тротуара подозрительные извозчики. Вот и дом: у ворот, около подъезда явно сыщики.

Пройти мимо? А как же снаряд?

Мы громко, непринужденно болтаем по-французски. Елена, картавя, ломаным русским языком читает вывеску у подъезда: — „с'est ici le зубной в'ач, п'ием от двух до т'ех“, — шурша шелками и щебеча поднимаемся в четвертый этаж — если там засада, мы, француженки, ошиблись дверью.

Звоним — нет, свои. Но Андрея Юльевича не будет — „в доме неблагополучно, ждем обыска, уходите скорей“. С тем же беззаботным видом минуем свору шпионов — они нами нисколько не заинтересовались — нанимаем извозчика (заведомо шпион!) и, все так же болтая по-французски, исчезаем в Гостином Дворе.

Что ж теперь делать?

К Марку Андреевичу. Он всегда знает, где найти Ивана Николаевича.

Марк Андреевич на даче, в два часа можно успеть туда и обратно.

Марк Андреевич встречает нас выговором — не в ту дверь постучались, не так спросили его, он здесь не так называется, хорошо, что во-время сам подошел к дому... и вообще без крайней необходимости...

— Марк Андреевич, нас по такому адресу направили сюда, дело очень срочное...

Но Марк Андреевич только отмахивается. „Ни Андрея Юльевича, ни Ивана Николаевича раньше нескольких дней увидеть нельзя — как это в такое время? провалы... Как! вы пошли на явку? Да там теперь полиция — Андрей Юльевич предупрежден... Послезавтра Андрей Юльевич будет на Морской, угол Гороховой, между 5 и 6 вечера“.

Мы возвращаемся в Петергоф подавленные. Я возмущена: неужели нельзя установить более быстрого и прямого сообщения! ведь мы же в Петергофе, в центре слежки... Елена застывает: именно потому и нельзя. Не виновата же организация, если провалилась явка Андрея Юльевича.

В отеле что-то изменилось. Наши соседи-офицеры уехали. Лакей говорит с гаденькой улыбкой: „теперь вам будет спокойнее-с, разъезжаются“.

За стеной тихо, но не пусто.

* * *

Хмурое небо, моросит холодный мелкий дождик, по улице тянутся возы с мебелью, сзади болтается ведро, наверху

сидит кухарка, в руках корзина с кошкой. Лето прошло. Что мы тут делаем?!

Каждый час дорог, а впереди два пустых дня. После свидания с Андреем Юльевичем и Иваном Николаевичем необходимо взять снаряд и воспользоваться первым случаем. Остается еще „конкретный план“ — спектакль 30 августа. Трепов ожидается на этот раз наверное.

* * *

Улица опять приготовлена: поддельные дачники, рои паучков на велосипедах. Сейчас разъезд с парада на плацу.

Мы рисуем. У нас открыты окна — можно будет посмотреть на них. Но и только.

Стук в дверь. Взмолванный лакей, за ним два казака. Во всем отеле закрыть окна...

Не отрываясь от мольбертов, велит лакею затворить. Казаки стремительно бросаются к окнам и балкону, поспешно затворяют, уходят.

Мы осторожно приближаемся к окну: сквозь занавеску видно на противоположном тротуаре двоих — не сводят глаз с наших окон.

Топот копыт, стук автомобилей — вот и Трепов — в коляске — один! И длинный бесшумный царский автомобиль.

* * *

Мы долго не можем успокоиться. Эти солдаты в комнате, этот грубый тон... А мерзкие глаза, устремленные на наши окна! И несомненное присутствие каких-то нежитей рядом — вчера вечером тоже шорохи, шаги в мягких туфлях...

Коромысло качнулось.

* * *

Под вечер в отель неожиданно приходит Клепиков, просит меня уделить ему несколько минут наедине по важному делу.

„Пусть ваша подруга чем скорее уезжает отсюда, а то и вы зря попадете с ней в скверную историю. За вами сле-

дят, отрядили двенадцать сыщиков... вон двое напротив стоят, другие на углу, на вокзалах... и за стеной тоже — пошли обедать, я и воспользовался. Уж вы на меня не сердитесь — говорю от души — не спроста приехала сюда ваша подруга — чужая душа потемки“...

Я понимаю, что думает эта простая, наивная душа. Его непоколебимая вера в меня не допускает и тени подозрения.

— Спасибо вам, Николай Иванович, вы благородный человек, знаю, что от чистой души. Но я не хочу слушать дальше — вы заблуждаетесь. Бояться нам нечего, тут явное недоразумение, оно разъяснится — пусть себе следят.

— Очень вы доверчивы, Кира Николаевна, а все же не брезгайте советом...

* * *

Итак — произошло непоправимое. Остается одно — бежать. Обеим? Нет. Я останусь, до театра всего неделя.

— Но вас арестуют! Теперь все равно ничего не сделаете!...

— Нет, нет, останусь. Так много затрачено сил, времени... нет, останусь. Пусть лучше арестуют, а сама я не уеду. С вашим отъездом они, может быть, на время угомонятся...

Мы старательно припоминаем все подробности — „заразить“ Петергоф мы не могли. Чьянибудь неосторожность? Максималисты?

Елена волнуется. У нее свои догадки. „Это за мной — вы не знаете — мой брат — мы с ним очень похожи — он должно быть попался...“

Елена мучается, что невольно подвела меня. Я доказываю, что этого быть не может, Иван Николаевич никогда не пустил бы ее сюда, если бы чтонибудь грозило со стороны брата. Вернее, что усилили общую охрану, а она здесь новое лицо. Ей необходимо уехать тотчас же, а я останусь, пока есть хоть искра надежды.

Все это говорится урывками, шопотом и мимикой. Вслух продолжаем жить для соседей. Я играю очень шумно — „son brío“, а Елена готовится к побегу.

* * *

В обычном одиннадцатом часу выходим гулять. Против дома нет никого. Пойдем полем и рощей в Старый Петергоф — на станции в Новом должно быть дежурят — там сядем в Ораниенбаум, а оттуда в Петербург.

Но на перекрестке стоит морской офицер с физиономией дворника — закуривает папироску и „идет дальше“ — ага, за нами.

Очевидно нет смысла идти пешком. Нанимаем извозчика в парк. По пути „передумали“ — поедем в Старый Петергоф.

На пол-пути нас обгоняет „джентльмэн“ на велосипеде, значительно опережает нас...

Так вот они — котелки, фуражки, на велосипеде...

* * *

На вокзале у кассы, за столом, у выхода сыщики. Морской офицер читает газету. Велосипедист беззаботно курит. Тут же два картуза, стоявшие в фуражках во время разъезда с парада.

Дачников почти нет. Ехать в Ораниенбаум бесцельно — берем билеты в Петербург, там ускользнем.

— Нас сейчас возьмут, всегда так много перед арестом, они нас не выпустят, — шепчет Елена, — пойдем в дамскую, туда не посмеют — еще одну минуточку на свободе...

Мы наскоро сговариваемся в дамской, как держаться на допросе. Звонок. Пора.

Однако нас не берут. Садимся в поезд. В купэ в Н.-Петергофе входит полицмейстер. Знакомый. Знает? Повидимому, нет — обычный светский разговор.

На вокзале в Петербурге наших петергофских „паучков“ не видать. Нанимаем извозчика. В нескольких шагах от нас двое неизвестных тоже нанимают. Мы едем. Они тоже — за нами. Несколько пустынных улиц — наконец исчезают за поворотом. Меняем извозчика, адрес — никого. Освободились? Что-то в нас подсказывает — нет. „Извозчик, остановись где,нибудь тут — направо“. Извозчик лихо подкатывает к магазину — вывеска, крупными буквами: „Савинков“. Мы пере-

глядываемся, улыбаемся — хороший знак? Проходим несколько шагов — к тротуару подъезжает извозчик, высаживаются — те двое!.. Какое-то навождение. Что делать?

Заходим в шляпный магазин в Гостином Дворе, Елена покупает маленькую серую шляпу, надевает ее вместо большой черной, которую заворачивают в бумагу. У витрины снаружи стоят оба сыщика, пытаются заглянуть внутрь, но мы в глубине, там темно.

Через стеклянную дверь во двор мне бросается в глаза надпись у вторых ворот — уборная. „Мне дурно“, говорю, подношу платок ко рту. Елена понимает. „Ради бога“, — обращается к приказчице, — нельзя ли здесь пройти — поскорее“... Приказчица устремляется к двери, вмиг мы во дворе, стремглав летим под ворота, минуем, почти бегом через второй двор — дальше — мы на Садовой. Погони нет. Извозчик — еще извозчик, потом лихач — на Острова — избавились!

К пяти часам мы на явке Андрея Юльевича. Но его еще нет. Ждем. Час, два — все нет. Дольше невозможно — пропустим поезд.

Темно. Никем незамеченные, проскальзываем в подъезд. На улице дождь, пролетки с поднятыми верхами. Елена нанимает извозчика к паровику в Лесной, оттуда, минуя опасный Выборгский вокзал, сядет в поезд на Териокки. Она делает последнюю попытку увезти и меня, но я не сдаюсь. Крепко обнимаемся и расстаемся.

Я захожу к знакомым, поручаю им послать мне ночью телеграмму от Елены и возвращаюсь в Петергоф.

Лакей встречает меня как будто удивленно — должно быть, здесь нас уже не ждали.

— А барыня еще не вернулась?

— Никак нет.

— Значит пошла в театр и заночует в городе. Подайте мне ужин.

* * *

Рано утром от Елены телеграмма: „муж заболел, срочно вызвана домой, вещи доставьте дяде, простите беспокойство“.

Укладываю чемодан Елены, ликвидирую счет и возвращаюсь к Клепиковым.

— Вот и слава богу! Опять заживем по-хорошему, — говорят Клепиковы и на радостях заводят граммофон.

* * *

Отвожу чемоданы Елены в Петербург к ее родственникам. За мной следят неотступно. Я не обращаю на это никакого внимания — вещи „чисты“, родственники тоже. Потом еду с визитом в Петропавловскую крепость к Веревкину. „Паучки“, поколебавшись, проникают за мной и туда.

Заезжаю за конфетами и печеньем и с „пакетиками“ возвращаюсь в Петергоф. Меня провожают до дому.

Завтра во что бы то ни стало я должна пробраться в Териокки, узнать, что с Еленой, и повидать Ивана Николаевича. Необходимо хоть на один день отделаться от такой облавы.

— Эти ваши „паучки“ совсем обнаглели, — говорю Клепикову. — Пусть себе следят, это их дело, но надо же знать меру! Они позволяют себе входить в подъезд, расспрашивать швейцара... Стыдно перед знакомыми... Хочу пожаловаться начальнику дворцовой охраны — он их проучит!

— Хорошо сделаете, Кира Николаевна, — говорит Клепиков и провожает меня до дверей канцелярии.

Меня подводят к полковнику.

— Садитесь сударыня. Чем могу служить?

Сажусь против него за маленький столик. Он небрежно кладет правую руку на стол — рядом вижу револьвер, дуло гостеприимно направлено на посетителя.

Излагаю полковнику свое „дело“.

Он озадачен. Должно быть, в его практике не случалось, чтобы неблагонадежный являлся с доносом на самого себя.

— Но, сударыня, чего же вы желаете от меня? — спрашивает он недоуменно.

— Защиты, полковник. Я здесь одна и мне не к кому больше обратиться. Они ведут себя так грубо, что-то бормочут, хохочут... Совсем неприлично — за кого меня могут принять!

Полковник уже пришел в себя. Инквизиторским тоном.

— Почему же вы думаете, что это сыщики, что за вами следят? Это могли быть простые хулиганы.

— Они сами это сказали швейцару в доме знакомых, а тот по простоте душевной „предупредил“.

Полковник хмурится.

— Вы их узнаете в лицо?

— Конечно. Я их часто вижу в Петергофе. Да вот они — в саду, под окном.

Мои мерзкие спутники, действительно, добросовестно продолжают следить за мной даже здесь.

— Идиоты! — цедит сквозь зубы полковник. — Будьте покойны, сударыня, я их подтяну.

* * *

Я не ошиблась в расчете: „паучки“ отозваны, у меня передышка — какой же смысл гоняться за человеком, который, очевидно, не собирается бежать и знает, что за ним следят. Еду с утра — в пустынных аллеях Лесного парка окончательно убеждаюсь, что за мной не следят и отправляюсь в Териокки.

Елена цела и невредима. Она успела даже побывать в Петербурге — на одну минуточку, по одному делу... — „Представьте себе: коричневая юбка, синяя блуза, зеленая вуаль, под мышкой I том „Капитала“ — стою на площадке, грызу семечки и плююсь шелухой — на меня никто не обратил внимания: безвредная курсистка — эсдечка!..“

— А я донесла на себя начальнику дворцовой охраны...

Наперебой рассказываем друг другу свои похождения и радуемся друг другу, как чуду. Но есть и печальная новость: Андрей Юльевич арестован, притом на улице, когда шел именно к нам на явку — оттого и не дождались его. Из за нас!...

— Иван Николаевич будет здесь завтра — он тревожился за вас.

* * *

На этот раз Иван Николаевич совсем другой — внимательный, даже заботливый. Подробно расспрашивает обо всем и в общем одобряет мой образ действия, но сомневается, чтобы в этих условиях надзора удалось что-нибудь сделать. — „Вы ведь не думаете, что вас оставили в покое?“ — „Нет, конечно: перестраиваются и поведут более тонкую слежку. Мне просто важно было выгадать несколько часов“... — „Да, засиживаться вам в Петергофе нельзя“. — „Через пять дней спектакль“. — „А вы и теперь надеетесь попасть туда?“ — „Рассчитываю. Ведь, по словам Клепикова, вся суматоха поднялась из-за Елены, а Клепиков говорит со слов тех же охранников“...

Иван Николаевич задумывается.

— Едва ли это так. Ведь Елена носит фамилию своего мужа, притом с братом ее ничего не произошло — он нелегальный и никакой тени на нее не бросает. Наконец, ее бы не выпустили из Петергофа, если бы дело было в ней. Нет, тут что-нибудь другое...

И Иван Николаевич задумывается.

— Вы думаете — максималисты?

— Весьма вероятно, они очень неосторожны... Кстати, вы говорили, что можете получать билеты во дворец Екатерины?

— Да, по средам и субботам.

— То-есть накануне парадных завтраков?

— Да.

— Сколько человек могут впустить с вами!

— Пять-шесть.

— А выходящих из дворца — не пересчитывают?...

Меня вдруг осеняет. Понимаю! Как же я раньше не додумалась до этого. Как это тонко и как просто. Каким громоздким, наразборчивым показался мне теперь план Медведя — въехать на автомобиле, взорвать десятки

Клепиковых... Этот тяжеловесный человек с отталкивающей внешностью умеет бережно относиться к человеческой жизни, он настоящий художник своего дела — я узнаю его четкую, чистую отделку во всех крупных актах эс-эров. Только теперь вижу Ивана Николаевича во весь рост и понимаю, что можно забыть о его внешности, подчиниться его авторитету — он проведет „Наутилус“ через все подводные рифы.

* * *

Остаток дня и следующий проходят как будто без слезки. Я „очень расстроена“ этими неприятностями. Клепиков уговаривает не менять прежнего намерения провести здесь зиму и, чтобы развлечь, ведет во дворец Екатерины. Публики мало. Целый час показывает все достопримечательности — зал, где государь принимает депутации, столовая, где кто сидит, как обносят блюда за завтраком. „Вот сюда переходят пить кофе... под этой пальмой любимое место „Папаши“... „В соседнем зале вся мебель на пуху — „вот как делалось в старину!“ Изящная кушетка с балдахинном, потолок балдахина зеркальный. Всюду затейливая пышность Екатерининского века.

Моя маска еще никогда не казалась мне такой удушливой. Доверие Клепикова граничит с героизмом, моя роль по отношению к нему — с злодеянием. Цель оправдывает средства перед людьми, перед историей, но не перед собственной совестью.

* * *

После завтра спектакль, а билета у меня все нет. Я чувствую, что тут какая-то заминка, Клепиков как-будто избегает говорить про театр. Я не должна поставить себя в положение получившей отказ — надо выдержать роль „жены Цезаря“ до конца. Лучше отказаться самой: если попасть в театр все же возможно, Клепиков сам будет уговаривать „развлечься“.

„Знаете, Николай Иванович, я раздумала итти завтра в театр — нездоровится, да и скучно одной“.

Клепиков словно ждал, чтобы я заговорила об этом. „Скажу вам по совести, я еще и не спрашивал вам билет, — вы ведь хотели вдвоем...“ — „Да, да, понимаю...“ — „Для вас то я смогу взять — почему вам не пойти? развлечетесь“...

Но Клепиков не очень уговаривает — благоразумнее пока отказаться, в день спектакля еще не поздно будет. Завтра же во всяком случае необходимо увидеть Ивана Николаевича — он назначил мне явку в Териокках — возьму снаряд: если не в театре, то во время разъезда.

Вспоминаю прошлый спектакль. Какая разница. И как внезапно все изменилось.

* * *

Спрятанные когти опять выпущены.

Показать, что я слежу за своими провожатыми, нельзя, убежать от них — только ухудшить положение. Пол-дня провожу в Петербурге в поездках по магазинам, иду в Эрмитаж — за мной следуют шаг-за-шагом, нисколько не стесняясь.

На цепочке у меня конспиративное зеркальце — брелок. Оно выпуклое и отражает в уменьшенном, но очень четком виде всю улицу. Чтобы не оборачиваться, я незаметно поглядываю в зеркальце — рыжая лошадь с белой звездочкой на лбу и два картуза не отстают.

Вдруг меня озаряет мысль — отделаюсь.

Заезжаю к родственникам, люди с видным положением, повредить им не могу.

— Прокатимся на Острова, — говорю кухне, — мы давно не видались — вспомним прошлое, подышим воздухом — такая погода!

Кухина охотно соглашается.

— Только вот: мне необходимо отделаться от визита на Фурштадтской. Я выйду раньше, а ты найми лихача и заезжай за мной — я забыла номер дома — просто на углу.

Иду. Мои телохранители за мной. Нанимаю плохенького извозчика — они тоже. Едем. На углу уже стоит лихач, других, конечно, нет — здесь они не водятся.

„Не буду заходить — я встретила свою даму по дороге“. Пересаживаюсь и мы несемся на Острова. Зеркальце отражает переполошившихся „паучков“, жалкая мохнатая лошаденка выбивается из сил. Еще минута, и мы скрываемся за поворотом.

Через два часа дачный поезд увозит меня из Парголова в Териокки.

* * *

Около полуночи приходит на дачу Иван Николаевич. Неизвестно почему мне опять бросается в глаза его наружность, я тщетно пытаюсь побороть неприятное чувство.

— Вам нужно немедленно уехать оттуда, — говорит он, выслушав меня. — Лучше бы совсем не возвращаться.

— Но это значит перейти на нелегальное положение — заведомое бегство. Против меня нет никаких улик — зачем же мне самой устраивать себе провал!

— Во всяком случае следует отказаться от всяких дальнейших шагов и, не откладывая, уехать.

— Мне на месте будет виднее, как обстоит дело. Если окажется, что в театр можно, этим и надо воспользоваться. Но у меня не будет прежней свободы передвижения, а стрелять из браунинга на большом расстоянии заведомый промах.

— Если вы идете на дело, нужно уметь стрелять без промаха. Здесь можно было свободно упражняться — почему вы не пользовались этим?

— Вы шутите, Иван Николаевич?! Вы сами знаете, что значит ездить из Петергофа в Финляндию. Я достаточно владею оружием для тех условий, в каких была раньше.

— Революционер должен уметь ускользать от слежки, не навлекая на себя подозрений.

Я молчу, с трудом сдерживая взрыв негодования. Он тоже молчит и искоса поглядывает — наблюдает.

— Иван Николаевич,—говорю, наконец, поборов себя,— надо всетаки чтонибудь придумать, надо как-нибудь использовать эти несколько остающихся часов, быть может, дней. Если не в театре, то на улице — они будут разъезжаться у дома Трепова — необходимо снаряд, я не уеду так... ведь целых два месяца.

— Террористам приходится по целым месяцам откладывать задуманное, выждать, а иногда и совсем отказываться. Нужна выдержка.

— Я ведь не о себе — тут Петергоф. Такой Петергоф — единственный и неповторимый.

— Он, все равно, уже испорчен.

Больше нам говорить не о чем. „Не человек — машина“, вспоминаются слова Медведя.

— Хорошо,—говорю резко и встаю.

Иван Николаевич как будто встревожен. Поглядывает на меня.

— Что же вы намерены сделать?

— На месте видно будет,—говорю уклончиво.

* *
* *

Иван Николаевич ночует на даче.

Мы с Еленой, не раздеваясь, улеглись в каком то чуланчике прямо на полу на сене. Я так потрясена, что долго не в состоянии говорить. Наконец, начинаю отвечать на расспросы Елены, постепенно возбуждение растет. Елена то и дело удерживает меня — „тише, над нами Иван Николаевич — разбудите — он так устал“.

— Ах, мне все равно. Пусть себе устал. Я ненавижу его — понимаете? — не-на-вижу! Если бы он даже был прав по существу, разве можно так говорить с товарищем, с исполнителем... Какая-то игра в шахматы — будто пешки... будто наемные убийцы!

Елена не возражает, старается только успокоить. Но я не унимаюсь.

— Ездить в Финляндию упражняться в стрельбе—стрелять, как Вильгельм Телль! Из Петергофа! Это называется конспирацией!... И потом он даже и не прав. Это он, Иван Николаевич, провалил мне Петергоф—затянул, не дал себе труда вникнуть в положение, использовать возможности—он удержал от ряда ударов только потому, что это не укладывалось в его рутину, в формальные рамки...

Елена делает вид, что спит.

— Елена, — говорю безжалостно, — я все равно не сдам Петергофа. Бомбу возьму завтра у максималистов, а сделаю от себя. Если Партия захочет принять—дарю это ей. Вот.

— Да тише вы—сумасшедшая!

— А если Иван Николаевич гениальный террорист, если террор может вырабатывать таких людей, с пружиной вместо души, тогда пусть лучше совсем не будет террора.

Понемногу начинаю впадать в забытие, Елена спит, как вдруг на всю дачу раздается грохот, звук падающего тела, шаги...

Что это? Елена бежит узнать, возвращается—это Иван Николаевич упал с кровати, под ним подломились козлы.

Мы заливаемся смехом. Я черезчур устала и не вмещаю больше пережитых волнений. Смеемся до слез. „Вот видите, Елена,—говорю,—какой символ: крушение Ивана Великого...“

Утром вижу Ивана Николаевича мельком. „Едете в Петергоф?“—Еду.—„Что же вы решили?“—На месте видно будет,—говорю уклончиво.

Холодно прощаемся. Елена провожает до поворота—на станцию нельзя—здесь ведь тоже шпионы. А Иван Николаевич говорит—ездить упражняться в стрельбе!

III.

К максималистам не захожу—партийная дисциплина берет верх. Но заезжаю за своим браунингом и капсюлей: с приезда Елены в Петергоф не держу их при себе—опасно и не за чем, импровизация запрещена.

Никого не застаю дома—вернутся поздно вечером. Приходится целый день перебыть в городе. Где-нибудь—все равно—у сибирских родственников.

Завтра мой „последний день“. Но я вполне безучастна к нему—столько их уж было, этих „последних дней“.

Около 11-ти опять захожу за оружием, но и на этот раз неудача—еще не возвращались. А может быть к лучшему—захватить успею завтра утром.

На Петергофском вокзале мало народу. Сажу в пустом вагоне. Вдруг на платформе у окна вырастает чей-то силуэт, кто-то прижимается лицом к стеклу, быстро отбегает, тащит кого-то за рукав. Оба прижимаются к стеклу, два расплющенных носа—узнаю! мои „паучки“! Их радость неопишима. Я никогда не видала такой злой и глупой радости. Они вбегают, нагло заглядывают мне прямо в лицо, с обезьяньими ужимками толкуются на одном месте. Наконец, поезд трогается, они выходят из вагона.

* * *

Подъезжаю к дому. На площади перед моим домом смутно чернеют какие-то новые для меня силуэты. Всмотриваюсь—козлы, проезд загражден. Ходят патрули. Стоит темный автомобиль.

— Тут, барыня, проезда нет, — говорит извозчик, — придется вам до подъезда пешком.

— Это когда же?

— Сегодня днем — приказ такой, чтобы не проезжать.

* * *

Меня ждали, подают самовар, а когда жена уходит, Клепиков таинственно сообщает мне последние новости: при дворе разнесся слух о каком-то грандиозном покушении в день спектакля. Поэтому загражден проезд по площади, расставлены патрули, билетов в театр больше не выдают... Оказывается, что когда я отвозила вещи Елены, „паучкам“ приказано было арестовать меня с ее чемоданами — „очень

уж вы доверчивы, Кира Николаевна, а я так думаю — не спроста она приезжала сюда...”

— Что ж не арестовали?

— Побоялись, думали — бомбы в чемодане — „бросит о землю — такие-то ведь жизнью не дорожат, ну а нам умирать не хочется“. Уж и попало же им за то, что выпустили чемоданы...

* * *

Второй час ночи. Под окном различаю фигуры солдат. Я знаю, что сегодня ночью меня возьмут. Мне хочется спать, но нельзя. Пробую сократить ожидание, читаю — нет, засну над книгой. Вспомнить разве дядю с его пасьянсами.

Раскладываю грандиозный пасьянс, пол стола уже покрыто полукругом из карт.

И тут — бесшумно распахнулась дверь.

На пороге два жандармских офицера, за ними штыки.

* * *

Я их ждала с минуты на минуту. И всетаки это было полной неожиданностью.

— Ни с места! вы арестованы!

Сразу все становится недействительным, как во сне, чужим и далеким. Потухает одно сознание — чувствующее, переживающее, и зажигается другое — глухой фонарь, спокойный и четкий расчет.

Встаю. — „Что это значит? Кого вам нужно?“

— Вы Кира Николаевна Юрьева?

— Да.

— Вы арестованы. Если вы двинетесь, в вас будут стрелять.

Я стою на месте. В руках у меня ничего нет. Жандармы решаются переступить за порог. За ними солдаты в винтовками.

Начинается обыск. Перерывают весь дом, идут на чердак, в подвал, обыскивают помещение Клепиковых — из-за

стены доносится хныканье полусонных детей, испуганный голос Клепиковой. Слышу: „Где ваш муж?“

— Ушел на дежурство во дворец.

Я сижу под иконой, в углу, рядом солдат с винтовкой. По мере обыска тон жандармов меняется, они становятся все вежливее. „А это тоже ваш чемоданчик?“

— Да, он заперт, вот ключ—я открою...

— Нет, нет, нет,—возбужденно останавливают меня, не вставайте, мы не сломаем,— добавляет ротмистр мягче и берет ключ.

Обыск кончен. Ничего предосудительного. Жандармы перешептываются, пожимают плечами. Полковник смотрит на часы.—„Теперь вы уже сами распорядитесь“, говорит ротмистру и уходит.

— Эй, кто-нибудь там—позвать понятую женщину.

Приводят высокую беременную женщину. Ей объясняют, что она должна произвести личный обыск. Она долго не может взять в толк, вдруг на ее лице отражается испуг.— „Нет уж, увольте ради бога, — не могу я этого“ — и указывает на свой живот.

Ее отпускают. Приводят другую. Та боязливо соглашается. Меня отводят за ширму и оставляют с ней наедине. Она делает вид, что обыскивает, а сама виновато и умоляюще смотрит на меня. Я мимикой отвечаю, что ничего нет.

— Нет у них ничего — вот только часы, зеркальце — и передает ротмистру цепочку с брелочками. Ротмистр машет рукой.

Пишут протокол, сзывают и опрашивают всех живущих в квартире. Появляется Кирсанов. Он бросает на меня исподлобья злой, нехороший взгляд. Я внимательно смотрю на него — его это дело? Нет — едва ли: он сам смущен и испуган.

— Что же вы скрыли, что у вас еще жилец?! — грозно набрасывается ротмистр на Клепикову.—Ваше имя, фамилия—сурово обращается к Кирсанову.

— Что вы тут делаете? Ваше занятие? — продолжает он свирепо.

Кирсанов пытается что-то сказать вполголоса, жандарм нетерпеливо: „что вы там бормочете?“

Своя своих не познаша!

Кирсанов предъявляет бумаги. Жандарм сразу успокаивается: „можете итти“.

* * *

Начинается допрос. В комнате только ротмистр и один солдат.

Я отвечаю подробно, без запинки—„чистосердечно“. Все вопросы давно предвидены и предусмотрены, вся жизнь до мелочей построена на самых естественных основаниях. — „Почему вы так засиделись в Петергофе—все дачники уже разъехались?“ — „Я предполагала остаться здесь на зиму, рассчитывала на подругу: мы хотели вместе рисовать—здесь для моего здоровья лучше, чем в Петербурге—подруга внезапно уехала“—в бумагах и телеграмма о болезни мужа Елены, и ее письмецо—нелепенькая дамская записочка на розовом картоне...

Про Елену не спрашивает: видимо, ей особого значения не придают—Клепиков со своими „паучками“ ошибся.

Ротмистр совсем сбит с толку. Записывает, пожимает плечами. „Тут явное недоразумение“...

— К сожалению, мне придется все же арестовать вас—есть распоряжение: независимо от результатов обыска. Я убежден, что вас завтра же освободят.

Входят солдаты, Клепикова и ее сын, мальчик лет одиннадцати. „Собрать все вещи! Чтобы были в сохранности! Вы отвечаете за целость“—грозно обращается ротмистр к Клепиковой.

Мальчик помогает матери прятать разбросанные вещи, сосредоточенно собирает и пересчитывает брошенные на столе карты.

— Кира Николаевна, — раздается вдруг его детский голосок—в колоде сколько должно быть карт? 52?

Бьет четыре. Все готово. Мне хочется пить—наливаю из графина воды, подношу стакан ко рту. Ротмистр испуганно

удерживает, вопросительно смотрит, отпускает. Я пью. „Я ведь, отвечаю за вашу жизнь“, — говорит.

Клепикова утирает слезы. Меня уводят. У подъезда извозчик. Один городской садится рядом, другой на передней скамейке.

— Не бойтесь нас, барышня, — говорят они, когда отъехали, — садитесь поудобнее — и отодвигаются.

Сворачиваем к Старому Петергофу.

Восток чуть белеет.

IV

Деятельное „я“ исчезло. Уж не я, а мне, меня, со мной... Глухой фонарь потушен, и с особенной остротой ложатся внешние впечатления, воспринимаются внутренние переживания. С чувством, близким к священному трепету, переступаю за ворота Старо-Петергофской тюрьмы. Я касаюсь краев желанной чаши.

Темный двор, люди с ручными фонарями, звяканье ключей, скрип засовов, пыльная контора, слабо освещенная керосиновой лампочкой, дряхлый начальник тюрьмы, опрос и запись.

Потом коридор, отпирают скрипучую дверь, вносят мои вещи. Я вхожу в камеру. „Тут почище будет, — говорит сторож, — а на нарах еще никто не спал“, — ставит догорающую лампочку на стол — „если что потребуется, постучите в дверь“. И уходит. И — запирает снаружи на ключ. Слышу: щелкает замок, гремят ключи, шаги удаляются.

Запер и ушел. Как ни в чем не бывало.

* * *

Меня заперли на ключ!

Как вещь. Поставили и заперли.

Это не вмещается в сознание. Тупо повторяю себе: — заперли на ключ — и стою неподвижно. Рядом с вещью.

* * *

Усилием воли вывожу себя из оцепенения. Беру лампочку, обхожу камеру — нет ли надписей на стенах? Нет, заново выбелены. Толстые решетки в окнах — никогда не видала решеток в окнах изнутри. Трогаю. Исследую нары — как будто чисто. Сажусь на нары. „Нары“. Читала о них. Так вот какие нары — просто доски...

Это тюрьма для уголовных, политические случайны. „Недельку подержат в Старом Петергофе — так уж водится“, вспоминается Клепикова.

Хоть бы не завтра допрос — отдохнуть бы, спать — несколько дней подряд.

Лампочка догорает. Кладу голову на руки. Сплю.

* * *

Просыпаюсь от шума многочисленных ритмических шагов по земле. Светло. Мимо окон маршируют длинной цепью по два в ряд странные люди в одинаковых желто-серых куртках и колпачках. Раз-два, раз-два — кругом двора.

Фантастическая ночь кажется сном. Проснулось дневное сознание. И началась тюремная жизнь. Я еще не умею жить в тюрьме.

* * *

День проходит за днем, а допроса все нет. Мучительно ищу разгадки, припоминаю до мелочей все эпизоды последних дней на воле, подробности обыска, допрос... Не Елена. Не я. Максималисты.

* * *

Время устанавливает взаимодействие между человеком и обстановкой. На третий день я уже умею жить в тюрьме. И сторож приветливый — „кипяточек“, — ласково говорит он три раза в день и ставит чайник на стол. Разговаривать с заключенным запрещено.

Есть друзья — голуби у решетки, кот Васька — по вечерам прыгает в окно и спит у меня на нарах.

Писать и читать мне не разрешили. Выцарапываю иглой от шляпы пейзажи на столе—гравюры по дереву.

* * *

Прогулка уголовных. Странно. Среди арестантов серая форменная тужурка с красными петлицами и золотыми пуговицами—это дворцовый лакей, это Клепиков!!

Зову сторожа. „Что он тут делает? Пришел навестить?“— „Помилуйте, разве позволят... Как и все здесь—арестован“.— „Давно?“ —На следующий день после вас, по дороге с дежурства домой—стеснялся показываться на прогулке“...

Я больше не подхожу к окну во время прогулки арестантов.

* * *

Днем есть еще какое-то подобие жизни и событий: и „кипяточек“, и фунт ситного со стаканом молока и яйцом вместо обеда—я на больничной порции.

Днем можно смотреть, слушать. Прогулкой не пользуюсь— „жена Цезаря“ не должна унизить себя до этого.

Длинные пустые вечера в полуосвещенной камере и бессонные ночи.

* * *

По закону дольше двух недель не имеют права держать без допроса. Если и завтра не придут, потребую перо и бумагу, напишу заявление прокурору. Знаю, что бесполезно, зато буду писать — сначала черновик...

* * *

С 12-го на 13-ое сентября. Два часа. Занимаюсь наблюдением микрокосма в ламповом стекле: осторожно стряхиваю туда пепел с папирасы и слежу за течением светил. Одни пылинки сразу вылетают в струе горячего воздуха, но почти всегда остается несколько „планет“, и они долго движутся по определенным путям. Одни поднимаются и опускаются, другие плавно описывают круги. Есть свои воздушные те-

чения—невидимое проявляет себя в видимом. А еще—„состшествие св. духа“ на спичку над лампой.

Если дисциплинировать свою мысль, как дисциплинируешь волю, то и в тюрьме...

Шаги по коридору — много — приближаются. Отпирают камеру...

* * *

Входит знакомый полицмейстер в сопровождении вооруженных солдат.

— Не спите еще? — вежливо здоровается, приказывает солдатам выйти за дверь, садится.

— Я получил распоряжение доставить вас утром в Петербург. Вам предоставлен выбор — пешком по этапу или в поезде.

— Куда же меня переводят? Не освободят?

— К сожалению, нет. Вы числитесь за Петербургским охранным отделением, оно ведет все дело помимо полиции и мы ничего не знаем.

— Другими словами, вы спрашиваете, под каким соусом мне приятнее, чтобы меня съели? Мне все равно. Доставляйте как хотите.

— Нет, зачем же. Зачем вам итти с уголовными, под стражей... Здесь вас все знают — вам будет неприятно... Не лучше ли в поезде — вы поедете со мной на вокзал, никто не обратит внимания — ведь могу же я кататься с дамой?! — сядем в вагон...

— Хорошо, поеду поездом.

Полицмейстер оглядывает камеру, морщится.

— Вы — в этой обстановке!.. Как могло это случиться! Вы ничего не можете припомнить — может быть случайное знакомство — иногда и не подозреваешь...

— Нет. Я ничего не понимаю. Все мои родные, знакомые на перечете — вы их сами знаете... Нет.

Полицмейстер вздыхает.

— Главное — нас не спрашивают, мы-то знаем вас... Постарайтесь уснуть — у вас еще два-три часа...

Прощается, уходит.

* * *

Ничего не понимаю. Такая смесь „всей строгости законов“ и рыцарского великодушия. Что значит право выбора? Или бояться, что меня будут отбивать, и выбор — ловушка?...

Куда повезут? Что могло обнаружиться за эти две недели? С какой стороны угроза?...

Мысль в сотый раз обегает заколдованный круг и упирается все в ту же точку.

А что — если — Москва? если... если меня узнал тот... кошмарный — не убитый — если Раут, Реут — как его... если очная ставка с ним?!...

Тогда — конец.

* * *

Около 7-ми, после долгих формальностей, меня с моим порт-плэдом везут на станцию. На катанье с дамой не похоже: впереди извозчик с двумя городовыми, за ними я с приставом, на козлах городской. Мчатся во весь опор.

На вокзале много вооруженных солдат. Меня уводят на самый конец платформы и оцепляют. Подходит полицмейстер. „Мне не придется сопровождать вас — пришло новое распоряжение“ — он указывает на охрану.

Я люблюсь осенними тонами и с наслаждением вдыхаю свежий чистый воздух. Как хорошо!

Подходит поезд. В конце вагон III класса пустой, с солдатами на площадках. Вхожу. За мной пристав и солдаты.

* * *

Бессонная ночь, резкий утренний воздух, давно не испытанные ощущения ветра, движения, стук колес, краски, широкий горизонт перед глазами и полная неизвестность впереди — все это опьяняет: мне весело, я радуюсь каждому глотку воздуха, каждому промелькнувшему дереву.

Пристав с любопытством смотрит на меня, отсылает солдат на площадку, садится напротив.

— Вы совсем не страшная — я думал, буду провожать свирепую бомбистку...

— И разочаровались!

Он смеется. Вынимает газету из кармана.

— Нельзя ли „внутреннему врагу“ газету?

— Не полагается.

— Так расскажите, что было за эти две недели? Нигде не провалился материк? Никто никому не объявил войну?

— Нет, ни войны, ни землетрясения. Но случилось нечто, что должно вас особенно интересовать.

— Неужели? Что же?

Пристав не сводит с меня глаз. Помолчав:

— Трепов умер.

— Как?! Сам?!

Самый коварный расчет слился с самым непосредственным рефлексом.

Пристав раздражается смехом.

— Ну вот, ну вот — все мы говорим, что вас напрасно обвиняют... Ну какой же террорист позволит себе задать такой вопрос! Достаточно было-бы им услышать вас теперь, чтобы освободить. Да, представьте себе — сам!

Охота на Трепова была в Петергофе притчей во языцех, и у многих должен был сорваться этот возглас.

— Кому это им? — спрашиваю.

— Да все петербургская охранка мутит. Ведь это их дело. Нас-то, нас ведь не спрашивают. Мы вас два месяца видим изо дня в день, знаем с самой лучшей стороны... Они разве считаются с этим! Взяли на себя охрану Мина — вот и охранили. А еще говорят, что мы ничего не делаем.

Очевидно между полицией и охранкой своя „партийная“ вражда.

Поезд приближается к Петербургу.

Пристав вынимает из кобуры револьвер, вопросительно смотрит. Потом полусуто:

— Бежать будете?

— Буду.

— Ну, куда вам!.. А знаете — предполагалось, что вас будут отбивать с оружием в руках. Мне отдан строгий приказ не спускать с вас глаз.

— И дула?

Пристав смущается и не знает, как ему быть с дулом.

* * *

На платформе солдаты. Карета. За ней верховые казаки. Новая пластинка в кинематографе жизни.

* * *

Куда же это меня везут? Сворачивают вправо — не в крепость. Не знаю этих улиц. Прохожие стараются заглянуть в карету. Пристав опускает до половины шторы.

— Нет ли у вас в Петербурге родных, которые могли бы позаботиться о вас — деньги, одежда...

— Отслужить панихиду...

— Не смейтесь же. Я серьезно. Разрешите мне зайти к ним на обратном пути — им дадут свидание. А то вы как в воду, канете — иногда по месяцам держат.

— Благодарю вас — не стоит их тревожить, я ведь имею право написать?

Пристав безнадежно машет рукой.

— В таком случае, — говорит он — не откладывая, пишите заявление прокурору.

Вырывает листок из записной книжки и записывает, куда направить заявление.

— Все равно отнимут, — говорю, — ведь обыскивают.

— Ах, какая вы! надо хитрить, — сворачивает в тонкую полоску, — вот, за кольцо.

* * *

Казачий плац. Пересыльная тюрьма.

Здесь шумно, людно, вдоль лестницы солдаты с винтовками. Пристав сдает меня в конторе, потом обращается к смотрителю: „позаботьтесь об арестованной“...

* * *

Общая камера. Сколько тут народу! И свои. Вчера только увезли Павлову. Как, московская Павлова? Жаль что не застала. — А вы, товарищ, давно с воли? — Две недели. — Ну, как наши в Териокках? Ах — Андрей Юльевич арестован? Вы из Петергофа? Ну — мало ли что нет улик — уж придется вам посидеть...

Да у них тут бумага, перья, даже краски! Кто это рисует? Ну отлично, будем вместе...

Как в улье.

Как хорошо, весело здесь. — Что вы, товарищ?! вчера здесь...

В дальнем углу истерический голос: „ах, не смейте, не смейте входить! Шпионы!“ Это смотрительнице — она в белом халате, как в больнице. — „Уходите сейчас!“ Смотрительница уходит. Другой голос успокаивает: — „Она совсем больной человек“, говорит кто-то.

... „Вчера здесь на наших глазах часовой застрелил товарища... она подошла к окну — снизу, без предупреждения — видите, часовой под окном — вот еще пятно на потолке. — Запрещено подходить к окнам, чтобы не переговариваться с товарищами, военное положение...“

Невидимые щупальцы подхватывают и это страшное пятно и бросают его туда, где беспорядочной кучей нагромождены пластинки кинематографа последних недель. Когда-нибудь и это опустится в глубину сознания.

* * *

Петергофская тюрьма „из Мельшина“ кажется романтикой по сравнению с фабричной культурой Пересыльной. „Кипяточек“, кот Васька... Там я уже напала на какой-то путь, чтобы не заблудиться в себе — дисциплина мысли. Как это было давно — когда? сегодня — 12 часов тому назад...

Тут на людях не удастся. Но можно другое — рисовать. Буду рисовать.

К вечеру с трудом привожу свой ритм в какое-то согласие с их ритмом: в одиночке мне легче жить.

Десятый час. „Надо уложить т. Юрьеву, она ведь круглые сутки...“

— Кто здесь Юрьева? — спрашивают из двери.

— Я. А что?

— Соберите вещи, в контору зовут.

Наскоро укладываюсь, шляпа, пальто. Товарищи перешептываются. „В крепость?“ — „А может быть к допросу?“ — „А тогда вещи зачем?“...

* * *

— Садитесь, прочитайте и подпишите.

В конторе кроме служащих какие-то лица — шпионы, должно быть.

Читаю и ничего не понимаю.

Как это — освободить? О-сво-бо-дить. Подписка о выезде в трехдневный срок без права жительства в Петербурге и Петербургской губернии на все время усиленной охраны.

Подо мной раскрывается бездна...

— Вас, кажется, удивляет, что вы свободны? Вы не ожидали?

Подленький голос сразу приводит меня в сознание. Я чуть не выдала себя.

— Да, я не ожидала, что можно позволить себе такое издевательство... хорошо подпишу, но я буду жаловаться в этот трехдневный срок.

Смотритель меняет тон. „Следует, следует. Вот перышко-с“...

— Могу итти?

— Мы вас освобождаем. Но теперь, как не имеющую документов, вас должны препроводить в участок. Еремей, возьми вещи барыни, отведешь в участок.

Иду минут двадцать с городовым по темным глухим переулкам. Вверху глубокое небо с крупными звездами.

Потом грязный заплыванный участок, полицейский скрипит пером, городской бежит за извозчиком.

— Я обязан состоять при вас — до отхода поезда. Не буду стеснять вас — посидите в зале I класса, пока я сбегаю за билетом. Первый класс прикажете?

По платформе идет мальчик-газетчик. „Вечерняя Почта! Арест таинственной дамы в Петергофе! Вечерняя“...

* * *

— С приходом вас, барыня, — говорит извозчик. — Ну, славу богу... Я ведь давеча и отвозил...

— А Клепиков — свободен?

— Никак нет.

На площади пусто. Ни солдат, ни баррикад.

Как давно это было!

* * *

— Барыня, голубушка! — И Клепикова заливается слезами. — Натерпелась чего! А Николаша-то мой!..

— Видаете его?

— Сегодня в первый раз. Снесла ему пирожков, молока. Похудел очень, о детях тоскует...

Кирсанова прогнали было со службы — в ногах валялся — „куда меня эдакого примут на службу!“ — выпросил, в Петербурге на 50 рублей в месяц, простым сыщиком...

* * *

Смотрю в окно — крыша дома Трепова. Умер. Странно... Что-то проплывает в тумане сознания — близко, почти во мне — не знаю, что.

Как тогда — „генерала хоронят“...

Не знаю — что.

Погружаюсь в сон — как ключ на дно.

* * *

На завтра к полицмейстеру. У него должна взять какую-то бумагу и с ней уже в Охранное за паспортом.

В кабинете управления много народу. Деловой официальный поклон.

— Чем могу служить?—спрашивает полицмейстер и тихо, чтобы не слышали:—свободны?! совсем?!

— Нет. Я уезжаю — мне нужен документ... — передаю бумагу из участка.

Полицмейстер смущен. Перебирает бумаги.

* * *

Еще Охранное отделение. Паспорт возвращают.

Я могу уехать. Но инстинктивно цепляюсь за трехдневный срок, доживаю его у сибирских родственников. Хожу с кузиной по магазинам, гуляю с дядей по Невскому, продолжаю маскарад — все это скучно, не нужно, но отвлекает от того, куда боюсь заглянуть.

Три дня продолжаю жить в безостановочном напряжении, с той бессмысленной поспешностью и словно пережитком жизни, с какими продолжают расти ногти и волосы на трупе.

* * *

Ровно в полночь на третий день отходит с Николаевского вокзала поезд в Москву.

— Обо мне не хлопочи, — говорю на прощанье сибирскому дяде, — я этого не хочу, но Клепиков — он ни в чем не виноват — ему помоги, чем можешь.

Плавно покачивают мягкие рессоры. Я тихо погружаюсь в бездну...

V.

И только в Москве, отрезанная на время „карантина“ от партийной работы, окруженная привычной обстановкой и любовью близких, я поняла, что свобода в один миг опрокинула мостки, по которым я изо дня в день, из часа в час переходила из жизни в смерть.

Перевернулся бинокль, в который я смотрела на мир: далекое стало близким, когда-то близкое отодвинулось в недостижимую даль. Но смерть не приняла меня, а я не принимаю жизни. И лечу в пустоту — без жизни и без смерти.

* * *

Ищу выхода. Когда-то было что-то похожее... Надо было опуститься до дна. На этом дне сознания было непреложное право лгать и убивать во имя правды и любви.

А теперь? Что?

Жизнь за жизнь, убить и умереть — да. Но лгать изо дня в день, мысленно убивать изо дня в день и — остаться...

Что-то проплывает в тумане сознания — близко, почти во мне...

Я знаю — что.

Если мысли действенны, то — я сделала свое дело.

* * *

Ходят нелепые слухи, что Трепов умер не своей смертью, что его отравили. По другим вариантам, отравляли медленно — был подкуплен повар.

Конечно, вздор. Времена Борджиа миновали.

Но — то? Что, если то — хоть отчасти — правда? Что мы знаем о силе мысли?... Наука только начинает подходить к этому вопросу, и путь познания бесконечен.

* * *

Мучительно ищу выхода.

Мысленно прохожу пройденный в Петергофе путь. Беспорядочная груда впечатлений, мыслей, действий, переживаний начинает слагаться в определенные образы, приобретать архитектурную стройность, преломляться в линии, краски. Стараюсь отрешиться от себя, взглянуть со стороны, мысль все чаще поднимается над хаосом душевной пытки... Прошлое становится материалом для созидания будущего.

* * *

Срок моего карантина истек, за мной не следят, жизнь продолжает свой бег вперед, и я снова в партийной работе.

Урывками занимаюсь своими композициями — минуты краткие, но небывало интенсивные. Я живу как бы зигза-

гом — вперед и вверх, из этих ступеней когда-нибудь сложится равнодействующая параллелограмма сил, охватывающих всего человека в целом. Когда-нибудь я, быть может, найду ответ на вставшие, но не разрешенные вопросы, на главный, великий вопрос — имеет ли право кто бы то ни было во имя чего-бы то ни было лгать и убивать.

* * *

В октябре газеты полны подробностей о новой грандиозной экспроприации в Петербурге: неизвестная группа, вооруженная бомбами и браунингами, напала в Фонарном переулке на артельщика, перевозившего деньги под охраной вооруженного конвоя. Деньги похищены, но удалось задержать несколько человек.

* * *

...В числе казненных по делу в Фонарном переулке Василий Дмитриевич. Его „обреченную“ шею стянула петля палача. Медведь уцелел.

* * *

В самый разгар опасной и напряженной работы по организации военно-боевой группы появляется — Клепиков!

Он до сих пор пробыл в тюрьме. Лишенный места, изгнанный из пределов Петербургской губернии, он на последние гроши перевез семью в Тверь, а сам пешком отправился в Москву просить у меня помощи и защиты.

Он и не подозревает, чему может подвергнуть его, бывшего придворного лакея, моя помощь и защита. Приходится ограничиться посильной единовременной помощью и пресечь дальнейшие попытки сношений со мной.

Dura lex, sed lex.

* * *

Из тумана нелегального существования выплывает Нина. Вопреки всякой конспирации — она в Летучем Боевом Отряде Московского Областного Комитета — мы встречаемся и вместе тщетно пытаемся понять, что же собственно

погубило мой Петергоф. Ясно, что не максималисты, не предыдущая работа в Москве—все это привело бы ко „всей строгости законов“, а не к двухнедельной гастролки в тюрьме, к водевилю с „таинственной дамой“. Елена через несколько дней после моего ареста уехала в Москву и живет здесь легально.

— Как странно, — говорю Нине, — что Иван Николаевич так небрежно отнесся к такому исключительному моменту в жизни Партии, и он же так блестяще провел дело Мина...

— Вовсе не он. Покушение на Мина было организовано „летучкой“ Областного Комитета и явилось неожиданностью для самого Ивана Николаевича и вообще для центра.

— В таком случае прав был Медведь, говоря, что у нашей Боевой Организации нет революционного темпа, что Иван Николаевич — машина. И по-моему — не такая уж совершенная, как вам казалось, Нина.

Я говорю об отталкивающем впечатлении, которое осталось у меня от личности Ивана Николаевича. Все, что вырвалось, как непосредственный рефлекс, в ту последнюю ночь в Териокках, окрепло теперь при более спокойном взгляде на прошлое.

— „Неряшливость“, „неосторожность“ максималистов — ничто в сравнении с тем, как поставлено боевое дело в нашем центре. Я не сомневаюсь, что меня погубил безжизненный догматизм Ивана Николаевича. И — странное противоречие: при всем неслитии с летящими щепками у максималистов было больше духовного полета, больше идеализма и человечности, чем у наших с их чистотой принципов и отделки. Иван Николаевич сохраняет жизнь десяткам сыщиков, а дух живой убивает.

Нина, молча, поникает. Потом спрашивает:

— Вы жалеете, что ушли от максималистов?

— Нет. Я иначе не могла. Но и мы, и они часто слишком отдаемся стремлению вперед, и вольный разбег переходит в невольную инерцию. А это путь страшный, на нем легко погубить то, во имя чего мы берем себе право рубить — со щепками или без них.

— Но вы — не бросаете работу?

— Нет. Я еще не вижу другого пути. Только надо почаще поднимать глаза вверх — к звездам — чтобы не заблудиться в лесу, который рубим...

* * *

В ночь с 1-го на 2-ое декабря мне снится странно четкий сон. Тюремный коридор. Открывается дверь, из камеры выводят Медведя, он спокоен и весь сияет. Нас ведут.

— Вы готовы? — спрашивает Медведь.

— Да.

— Как жили, так и умрем — свободно... Палачу не позволим — сами...

Тяжелые шаги конвойных, лязг оружия, голоса — все громче, громче — оглушает...

Пробивается голос — это дядя — „Кира! открой, а то дверь взломают“.

С усилием стараюсь что-то понять, просыпаюсь.

Сон продолжается наяву — тяжелые шаги, лязг оружия, голоса...

„Открой, а то дверь взломают!“...

Обыск.

Я вмиг одета, отворяю.

— Как ты долго не просыпалась, — говорит дядя.

— Ах, дядя, такой страшный сон...

* * *

Утром в кабинете пристава Басманного участка ожидаю тюремной кареты. На стол кладут свежий номер „Полицейских Ведомостей“. На четвертой странице заметка:

„Сегодня на рассвете в Петербурге казнен Михаил Соколов, известный под кличкой „Медведь“... крикнул палачу: „руки прочь!“ и сам накинуд на себя петлю...

О чем думал Медведь, идя на казнь? И что хотел сказать мне на этом крайнем, срочном свидании?

Э П И Л О Г.

Весна 1909 года.

Иду вдоль берега. Звездная италиянская ночь. Море тихо шелестит. Обдумываю начатую картину...

Доносятся обрывки спора: „...ну, разумеется, без выкупа—какая же социализация“...

Эмигранты.

Прохожу мимо. Но уже не могу вернуться к картине. Вспоминаю подобный спор три года тому назад.

„... но если из-за выкупа придется пролить хоть одну лишнюю каплю народной крови, мы им бросим этот их выкуп—как подачку!“.

Это сказал Медведь. Он—„божья гроза“, что рубит лес, не останавливаясь перед щепками, и погиб из-за своего светлого зайчика на лбу.

Он проходил по улице мимо нищего. Уже миновал. Но вдруг остановился и повернул назад—хотел дать милостыню нищему... Переодетый сыщик узнал его по характерному нервному движению бровей—свиснул—сбежались скрытые в засаде городовые...

Мне говорили, что последнее время Медведь совсем перестал беречь себя—он как будто сам шел навстречу смерти.

После Фонарного от группы остались одни обломки, волна максимализма схлынула, обратилась в мутные ручьи.

Может быть в минуту рокового предстояния перед вечностью, Медведь вспомнил последний наш разговор, и

вспыхнули искры и осветили то, в чем я оказалась права. Не эту ли мысль услышала я во сне в смертный его час?

А я?

Только два года спустя, после новых арестов и побега за границу, поняла я то, в чем прав был Медведь. Разразившийся над Партией удар высек эту искру.

„Иван Николаевич“ — Азеф провокатор!

И при свете этой искры выступили незримые прежде строки на каждой странице летописи моей революционной жизни.

Какие же незримые строки стоят еще за этой страшной, неразгаданной моей судьбой? Чья рука начертала их?...

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

„А“ — член оппозиционной группы, отколовшейся от Московского комитета партии социалистов-революционеров, участник убийства двух шпионов на Лосином Острове близ Москвы весной 1906 г. — стр. 30.

А з е ф Е в н о Фишелевич, Евгений Филиппович, (одна из партийных кличек — „Иван Николаевич“) — родился в мещанской семье г. Ростова на Дону; окончил Политехнический Институт в Карлсруэ; начиная с 1892 г. вплоть до разоблачения (в 1908 г.) состоял секретным сотрудником Департамента Полиции; отличаясь крупными организаторскими способностями, сумел втереться в ряды социалистов-революционеров и постепенно занял видное место как энергичный и умелый организатор террористических актов; после ареста крупнейшего партийного деятеля, основателя Боевой Организации Г. А. Гершуни, взял на себя руководство центральным террором, организовал убийства Плеве и вел. кн. Сергея, подготавливал покушения на Дубасова, Трепова, Николая II и пр.; пользовался неограниченным доверием в партийной среде, почти бессменно состоял членом Центр. Комитета

Партии; одновременно поддерживал сношения с Департаментом Полиции, систематически выдавал революционных деятелей, проваливал типографии, срывал подготовленные покушения и, искусно ведя двойную игру, завоевал неограниченное доверие в рядах правительства; неоднократно (начиная с 1902 г.) подвергался обвинениям в провокации, но получал неизменную реабилитацию со стороны партии; был окончательно разоблачен в ноябре 1908 г., благодаря энергичным розыскам эмигранта Бурцева и уничтожающим показаниям б. директора Деп. Полиции Лопухина; успел скрыться от партийного суда и в 1909—1912 нелегально проживал в Германии, стр. 32, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 102, 105.

А л и с а (Александра Федоровна), — императрица, стр. 39.

„А н д р е й Н и к о л а е в и ч“ — член Московского Комитета партии соц.-революционеров, стр. 26, 51.

Б е т х о в е н, Людвиг (1770—1827) — композитор, стр. 48

Б о р д ж и а Чезаре — итальянский герцог конца XV и начала XVI в., соединявший в себе таланты по-

литика с неутомимою жаждою славы и готовностью на самые жестокие средства к достижению поставленных целей, стр. 100.

Бороздин Александр Порфирьевич (1834—1887)—композитор, стр. 30.

Веревкин—в описываемое время в Петропавловской крепости состояли на службе Веревкин, Михаил Сергеевич, штаб-офицер крепости, и Веревкин, Сергей Сергеевич, полковник, заведующий арестантским отделением, стр. 77.

Виноградов („Василий Дмитриевич“) — активный член Боевой Организации соц.-револ.-максималистов; участник покушения на Столыпина и экспроприации в Фонарном переулке; арестованный по последнему делу, был предан военно-полевому суду и подвергнут смертной казни через повешение, стр. 30, 31, 34, 36, 42, 46, 48, 50, 54, 55, 56, 60, 64, 65, 101.

Гоц Абрам Рафаилович—с 1906 г. член Боевой Организации партии социалистов-революционеров; принимал участие в подготовке ряда террористических актов (в том числе покушения на Дурново); в период реакции был осужден на каторжные работы; принимал деятельное участие в революции 1917 г. в рядах партии правых с.-р.; в 1922 г. был осужден по процессу с.-р. за участие в борьбе против советской власти, стр. 41, 74.

Дризен барон— в описываемое время в Петербурге проживали Дризен, барон Анатолий Павлович, и Дризен, барон Николай Васильевич, стр. 42.

Дурново Петр Николаевич— родился в 1844 г.; с 1884 по 1893 г. занимал должность директора Департамента Полиции (время разгрома народовольческих организаций); в 1900 г. назначен товарищем министра внутренних дел; после манифеста 17 октября, занял пост министра внутренних дел в министерстве Витте; воплощал в себе наиболее реакционное течение в среде сановников Николая II; был организатором всех репрессивных мер в период наивысшего подъема революции 1905 г.; открыто поощрял погромную деятельность монархических организаций, стр. 45, 60.

„Елена“—член партии социалистов-революционеров, стр. 23, 51, 54, 56, 57, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77.

Еремей—городовой, стр. 97.

З. Елена— см. „Елена“

Игнатьев Алексей Павлович граф, — родился в 1842 г.; занимал должности генерал-губернатора в Иркутске (1885—89) и в Киеве (1889—1896), с 1896 г. состоял членом Государственного Совета; был представителем крайнего реакционного течения, и вел решительную борьбу против каких бы то ни было уступок революции; пользовался крупным влиянием при царском дворе, направляя при помощи интриг полицейскую политику власти; убит 9 декабря 1906 г. в Твери летучим отрядом партии соц.-революционеров, стр. 40.

Каляев, — Иван Платонович родился в 1877 г. в Варшаве, в семье

- околоточного надзирателя; в 1901 г. работал в Екатериносл. соц.-демократической организации; в 1902 г. вступил в партию соц.-революционеров и через год был принят в состав ее Боевой Организации; активно участвовал в подготовке убийства Плеве; 4 февраля 1905 г. взрывом бомбы убил проезжавшего в карете московского ген.-губернатора вел. кн. Сергея; арестованный, был предан суду и приговорен к смертной казни, стр. 50.
- Каульбарс Александр Васильевич**, барон, — родился в 1844 г.; занимал ряд крупных военных должностей; обнаружил недостаток военных способностей в Русско-Японской войне 1904—1905 г.; по окончании войны был назначен командующим войсками Одесского военного округа и стал широко известен своими суровыми репрессиями и энергичным насаждением погромных организаций, стр. 45, 49, 50, 60.
- Кирсанов, Николай Андреевич** — агент, командированный для наблюдения в Петергофе летом 1906 года, стр. 37, 41, 47, 87, 88, 98.
- Клеоде-Мерод**, — балерина, стр. 59.
- Клепиков, Николай Иванович** — придворный лакей Петергофского дворца, стр. 37, 44, 46, 49, 60, 69, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 91, 98, 99, 101.
- Клепикова, Анна Васильевна** — жена придворного лакея в Петергофе, квартирная хозяйка Юрьевой, стр. 41, 44, 47, 49, 58, 59, 60, 69, 77, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 98.
- Климова, Наталия Сергеевна** — родилась в 1885 г. в семье рязанского дворянина, избранного в 1906 г. членом Государственного Совета; по окончании Рязанской Гимназии училась на Пб. научно-естественных курсах Лохвицкой-Скалон; в мае 1906 г. вступила в Боевую Организацию Соц.-револ. - максималистов, участвовала в подготовке различных террористических актов, в том числе покушения на Столыпина; была арестована в Петербурге 30 ноября 1906 г., предана военному суду, приговорена к смертной казни и после смягчения приговора отправлена на бессрочные каторжные работы, стр. 34, 38, 40, 43, 45, 46, 50, 54, 55, 61, 70, 71.
- Кравченко, художник**, стр. 55.
- Кшесинская, Матильда Феликсовна**, — балерина, стр. 47, 59.
- Леонтьева, Татьяна Александровна**, — дочь Якутского вице-губернатора, родственница ген. Трепова; в 1904 году была принята в состав Боевой Организации партии социалистов-революционеров; располагая связями в бюрократических и придворных кругах, подготовляла акт цареубийства; была арестована 16 марта 1905 г. на квартире, служившей складом взрывчатых веществ: освобожденная вследствие душевной болезни, уехала за границу, где примкнула к группе максималистов; летом 1906 г. в Интерлакене выстрелом из револьвера убила француза Мюллера, по ошибке приняв его за бывш. министра Дурново, стр. 60.
- Мазурин Владимир Владимирович** — родился в 1882 г. в Москве,

в купеческой семье; поступив в Московский Университет, примкнул к партии социалистов-революционеров; в 1904 г. состоял членом ее Московского комитета; принял активное участие в вооруженном восстании 1905 г.; одним из первых стал в оппозицию к Московскому комитету; организовал первую крупную экспроприацию (в Моск. О-ве взаимного кредита) и ряд партизанских террористических актов; был арестован на улице 29 августа 1906 г., предан военно-полевому суду и казнен 13 сентября на дворе Таганской тюрьмы, стр. 27, 28, 29.

„Марк Андреевич“ — член партии социалистов - революционеров, стр. 72.

Маша — прислуга коиспиративной квартиры в Поварском переулке в Петербурге, стр. 55.

Мельшин, Л. — литературный псевдоним поэта — народовольца Петра Филипповича Якубовича (П. Я.), описавшего нравы и быт тюрьмы 80-х и 90-х годов в известном сочинении: „Мир отверженных“. (1896 г.), стр. 96.

Мин, Георгий Александрович, — генерал - майор, командир лейб-гвардии Семеновского полка, отправленного из Петербурга в Москву в декабре 1902 г. для подавления московского вооруженного восстания; действуя под командой московского генерал-губернатора Дубасова, руководил захватом опорного пункта восстания, — Пресни, и расправой с захваченными участниками движения; 13 августа 1906 г. был убит на ст. Новый Петергоф членом летучего отряда

партии социалистов - революционеров, Зинаидою Коноплянниковою, стр. 38, 60, 65, 94, 102.

Наполеон I — стр. 52

Николай II — стр. 37, 38, 39, 42, 45, 62, 66, 71.

„Нина“ — член Летучего Боевого Отряда Московского Областного Комитета партии соц. - революционеров, стр. 51, 52, 53, 54, 101, 102.

Орлов, Александр Афиногенович (в тексте назван по ошибке графом) — генерал - майор, командир лейб-гвардии Уланского полка, находившийся в близких связях с двором имп. Александры Федоровны; был назначен после 17 октября 1905 г. начальником карательной экспедиции для подавления аграрных волнений в Прибалтийском крае; действовал с исключительной жестокостью, применяя расстрелы, артиллерийскую бомбардировку и поджоги отдельных селений, стр. 37, 66.

П. — заведующий дворцовой аптекой в Петергофе, стр. 47, 48, 58.

П. г-жа — жена заведующего дворцовой аптекой в Петергофе, стр. 47, 48, 59.

„Павлова“ — член Московской организации партии социалистов-революционеров; принимала активное участие в декабрьском вооруженном восстании 1905 г., состояла членом Пресненского революционного комитета, стр. 96.

Принц Тамара — дочь генерал-лейтенанта, командовавшего дивизией в Варшаве; член летучего боевого отряда партии социали-

стов-революционеров; дважды являлась на прием к командующему войсками Одесского военного округа, А. В. Каульбарсу, лично ей знакомому, чтобы произвести покушение на его жизнь; при втором посещении, беседа с Каульбарсом, разразилась слезами и заговорила о своем тяжелом душевном состоянии; 28 июля 1906 г. в третий раз направилась на прием во дворец, имея при себе браунинг и взрывчатый снаряд с часовым механизмом; на улице, теряя силы, уронила снаряд, который произвел небольшой взрыв (предохранитель был закрыт и воспламенился только запальник); собравшись с силами, Т. Принц бросилась бежать обратно в гостиницу и, захлопнув за собой дверь своего номера, покончила с собой выстрелом из револьвера, стр. 49, 50.

П р а с к о в ы а — прислуга Юрьевой, стр. 28.

Р а у т — сыщик по особо важным делам при Московском градоначальнике генер. Рейнботе, стр. 29, 93.

Р е й н б о т, Анатолий Анатольевич — генерал-майор, градоначальник г. Москвы, руководивший борьбой с революцией на территории столицы; 30 октября 1906 г. подвергся неудачному покушению со стороны летучего боевого отряда партии социалистов - революционеров; стр. 29, 30.

Р и м а н, Николай Карлович — полковник лейб-гвардии Семеновского полка, начальник карательного отряда, командированного 15 де-

кабря 1905 г. (в момент московского вооруженного восстания) на линию Московско-Казанской жел. дор.; был организатором и личным участником жестокой расправы на ст. Перово, Люберцы, Голутвино и др., где без следствия и суда было расстреляно и заколото штыками более 150 чел. служащих и рабочих, стр. 38, 66.

С а в и н к о в, Борис Викторович (партийная кличка „Павел Иванович“) — родился в 1879 г. в дворянской семье; начал революционную деятельность участием в соц.-демократических организациях; в 1902 г., отбывая вологодскую ссылку, примкнул к партии социалистов - революционеров и скоро занял видное место в составе Боевой Организации; играл руководящую роль в подготовке актов центрального террора, начиная с убийства Плеве; как представитель Б. О. входил в состав Ц. К. партии; после разоблачения Азефа безуспешно пытался возродить активную деятельность Боевой Организации; в период реакции опубликовал два беллетристических произведения („Конь бледный“ и „То, чего не было“), изображавших деятельность с.-р. и вызвавших суровую критику со стороны партийных единомышленников автора; в 1917 г. входил в состав министерства Керенского; в 1918—1923 г. руководил вооруженной борьбой против советской власти, стр. 32, 46.

С а в и н к о в — владелец магазина в Петербурге, стр. 75.

Сергей Александрович, великий князь—дядя Николая II; занимал с 1891 г. пост московского генерал-губернатора и, являясь представителем наиболее реакционного течения, оказывал большое влияние на ход правительственной политики; 4 февраля 1905 года был убит в Кремле бомбой, брошенной соц.-революционером Каляевым, стр. 50.

Соколов, Михаил (одна из партийных кличек — „Медведь“) — сначала — член партии социалистов-революционеров, с 1906 г. — руководитель группы соц. - рев. максималистов; выдвинулся из среды революционной молодежи, группировавшейся в 1904 г. в Женева, энергичной защитой аграрного террора; образовал группу единомышленников и, несмотря на противодействие Центр. Комитета, пытался осуществить свои идеи на практике в России; был арестован в апреле 1905 г. в г. Курске, после вооруженного сопротивления, оказанного полиции; в ноябрьско - декабрьские дни вел энергичную революционную работу в Москве, был виднейшим организатором вооруженного восстания и начальником пресненской боевой дружины; в январе 1906 г. стал во главе нового течения „максимализма“ и создал самостоятельную организацию, которая начала революционную работу в Москве и Петербурге; одновременно вступил в Б. О. партии соц.-рев., принимал участие в подготовке покушения на Дубасова, но разочарованный методами центрального

террора, покинул ряды партии и в июне 1906 г. создал собственную боевую организацию из максималистов и членов партийной оппозиции; подготовлял ряд террористических актов, организовал 12 августа 1906 г. покушение на Столыпина, а 14 октября того же года — экспроприацию в Фонарном переулке; в конце октября созвал за границей конференцию своих единомышленников, чтобы придать теоретическое и организационное оформление течению максимализма; 1 декабря 1906 г. был арестован на одной из улиц Петербурга, предан военно-полевому суду и 2 декабря подвергнут смертной казни через повешение, стр. 23, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 79, 83, 101, 102, 103, 104, 105.

Спиридонова, Мария Александровна — родилась в 1885 году в буржуазной семье; была исключена из VIII класса гимназии за „политическую неблагонадежность“; вступила в партию социалистов-революционеров; 16 января 1906 г., по приговору Тамбовского комитета партии убила советника Тамбовского Губернского Правления Луженовского, усмирителя крестьянских волнений и организатора погромов; после ареста подверглась со стороны полицейского пристава Жданова и казачьего эсаула Аврамова насилиям и истязаниям, которые сделали широко известны и вызвали взрыв возмущения и протеста в России и за границей; была приговорена

к смертной казни и, после смягчения приговора, отправлена на бессрочные каторжные работы; в 1917—1918 г., была одним из руководителей партии левых социалистов — революционеров, стр. 57.

Столыпин Петр Аркадьевич — родился в 1862 г.; ковенский землевладелец: в 1899—1902 г. — губернский предводитель дворянства Ковенской губернии; в 1902—1903 г. — испр. должность гродненского губернатора; с 1903 по 1906 г. — саратовский губернатор, 26 апреля 1906 г., при созыве 1-й Госуд. Думы, назначен министром внутренних дел в кабинете Горемыкина; 9 июля 1906 г., одновременно с роспуском 1-й Госуд. Думы, назначен председателем совета министров. Смертельно ранен 1 сентября 1911 г. на парадном спектакле в Киевском театре провокатором Богровым. Со времени роспуска 1-й Государственной Думы возглавлял собой политическую реакцию; выдаваясь из среды сановников своими способностями и образованием, старался подавить революцию двумя путями: с одной стороны, жестокими репрессиями, с другой стороны новой земельной политикой, направленной к уничтожению крестьянской общины и насаждению крепкой крестьянской буржуазии, стр. 45, 48, 55, 60, 61, 65.

Таня — член оппозиционной группы, отколовшейся от Московского комитета партии соц. - революционеров, стр. 30.

Телль Вильгельм — герой национальной швейцарской легенды, которая изображала его борцом за независимость родины и приписывала ему необычайную меткость в стрельбе из лука, стр. 84.

Терентьева, Надежда Андреевна „Надя“ — род. в 1881 г. в купеческой семье, окончила Уфимскую гимназию и Московские Педагогические курсы; в июне 1906 г. вступила в Боевую Организацию соц. - револ. - максималистов; участвовала в подготовке ряда террористических актов, в том числе покушения на Столыпина; была арестована 4 ноября 1906 года в Одессе, предана военному суду (вместе с Н. С. Климовой), приговорена к смертной казни и, после смягчения приговора, отправлена на бессрочные каторжные работы, стр. 34, 42, 48, 60.

Трепов, Дмитрий Федорович — родился в 1855 г., служил офицером в Конногвардейском полку, который пользовался особой близостью и покровительством царского двора; в 1896 г. получил назначение на должность обер-полицеймейстера в Москву, где стал в близкую связь с генерал-губернатором вел. кн. Сергеем; оказывал энергичную поддержку Зубатову, насаждавшему монархические рабочие союзы; непосредственно после 9 января 1905 г. был назначен петербургским генерал-губернатором, а 21 мая 1905 г. — товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией; благодаря поддержке придворных кругов, занял положение всесильного диктатора;

старался подавить революцию лавируя между жестокими репрессиями (знаменитый приказ „патронов не жалеть!“ и пр.) и частичными уступками (выступления в пользу расширения прав „Будыгинской“ совещательной Думы, в пользу университетской автономии и пр.); по настоянию Витте, после манифеста 17 октября 1905 г., был перемещен на пост дворцового коменданта, но не утратил своего политического влияния: с одной стороны продолжал организовать еврейские погромы, с другой—поддерживал идею либерального министерства и боролся против роспуска 1-й Госуд. Думы; умер внезапно 2 сентября 1906 г. от разрыва сердца, стр. 30, 37, 83, 41, 45, 47, 48, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 83, 94, 98, 100.

Фейт, Андрей Юльевич—один из старейших членов партии социалистов-революционеров,—родился в 1864 году, окончил Военно-Медицинскую Академию, участвовал в народовольческих организациях начала 90-х годов, привлекался по делу Петерб. совета рабочих депутатов 1905 г.; осужденный, бежал из Тобольской ссылки; летом 1906 г. состоял

членом центр. ком. партии социал. - революционеров, стр. 56, 57, 60, 67, 71, 72, 73, 76, 78, 96.

Фигнер, Вера Николаевна—родилась в 1852 г., в начале 70-х годов вступила в заграничные революционные кружки; по возвращении в Россию, приняла активное участие в революционной работе, сначала как народница пропагандистка, затем как виднейший член партии „Народная Воля“, участвовала в подготовке акта 1 марта, была руководителем народовольческой военной организации; в период разгрома Народной Воли, оставшись почти единственным из старых членов, старалась воскресить распадающуюся организацию; была выдана провокатором Дегаевым, предана суду и 28 сентября 1884 г. приговорена к смертной казни; после смягчения приговора, была заключена в Шлиссельбургскую крепость, где пробыла в течение 16 лет, стр. 51.

Шнейдер, Александр, художник, стр. 66.

„Юрьева, Кира Николаевна“, стр. 26, 51, 57, 67, 74, 77, 86, 88, 97, 103.

Записи прошлого

- Генрих Штаден—О Москве Ивана Грозного. Записки немца опричника.
- Т. А. Кузминская—Моя жизнь дома и в Ясной Поляне 1846—1862.

Литература и история литературы

- Аристофан—Лисистрата. Комедия. Перевод Адриана Пиотровского.
- Аристофан—Всадники. Комедия. Перевод Адриана Пиотровского.
- Дармстетер—Происхождение персидской поэзии. Перевод проф. Л. Жиркова.
- Леонов Л.—Петушихинский пролом. Рассказ.
- Леонов Л.—Деревянная Королева. Рассказы с гравюрами на дереве А. Кравченко.
- Леонов Л.—Туатамур. Рассказ.
- Леонов Л.—Конец мелкого человека. Рассказ.
- Модзалевский Б.—Анна Петровна Керн.
- Остроумов Лев—День жатвы. Роман.
- Романов Пантелеймон—Русь. Роман. Книги 1 и 2-я.
- Толстой Н. Н.—Охота на Кавказе. Рассказ. С предисловием М. Гершензона.
-
- Т. Юдин—Евгеника. Учение об улучшении природных свойств человека.

ИЗДАТЕЛЬСТВО М. И С. САБАШНИКОВЫХ

Москва, Никитский бульвар 8, кв. 7. Тел. 3-34-40
